





Гилберт Кийт ЧЕСТЕРТОН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОБ ОТЦЕ БРАУНЕ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)
Ч-51

Серия основана в 2007 году

Честертон Г. К.
Ч-51 Полное собрание произведений об отце Брауне в одном томе /
Пер. с англ. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. —
862 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2475-7

В одном томе собраны все произведения о знаменитом священнике-детективе отце Брауне.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-9922-2475-7

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

САПФИРОВЫЙ КРЕСТ

Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них — он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания; разве что праздничное шегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эспаньолки, которой больше бы пристали брыжжи елизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком — заряженный револьвер, под белым жилетом — удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой — умнейшая голова Европы. Это был сам Валантэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи.

Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до Хукван-Холланда¹, и решила, что он поедет в Лондон, — туда съехались в те дни католические священники, и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется — мелкой церковной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо.

Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина². Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо

¹ Хукван-Холланд — порт в Голландии; соединяется каналом с Роттердамом.

² В старофранцузском эпосе «Песнь о Роланде» после гибели славного графа король Карл зовет своих подданных, но ему никто не отвечает: «Ни звука королю в ответ». «Песнь о Роланде», с. XXVI, ст. 2411.

был известен не меньше, чем кайзер. Чуть не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды: однажды он поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему мозги»; другой раз пробежал по Рю-де-Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал — он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Большой частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом; несмотря на свой рост, он прыгал, как кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника — еще далеко не все.

Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик.

Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Валантэна остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше, чем кошка — на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил; в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, направлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на третьей станции; миниатюрная вдова из эсекского местечка и совсем низенький священник из эсекской деревни. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и бес-

помощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простоудушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал взглядом другого человека — в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма¹.

Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотленд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь — небольшая и чистая — поражала внезапной тишиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет; а в центре — одиноко, словно остров в Тихом океане, — зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Этот ресторан как будто бы забрел сюда из Сохо; все привлекало в нем — и деревья в кадках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.

Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона (похоже на сыноубийство!). Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принима-

¹ 1 м 93 см.

ют их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться¹ на неподвижное.

Аристид Валантэн был истый француз, а французский ум — это ум, и ничего больше. Он не был «мыслящей машиной», ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фатализма: машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облачают прописные истины в плоть и кровь — вспомним их революцию. Валантэн знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилы-оборванца в Уимблдоне до атлета-кутилы в отеле «Метрополь».

Когда Валантэн ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, — не в банки, полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует: стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. Если у вас есть ключ, говорил он, этого делать не стоит; но если ключа нет — делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать; почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантэн почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе.

Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался; он заказал яйцо всмятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Он вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к теле-

¹ Вероятно, речь идет о наблюдении Э. По из новеллы «Убийство на улице Морг»: «Искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено».

скопу, чтоб смотреть на мнимую комету. Валантэн считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник — творец, сыщик — критик», — сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быстро опустил. Кофе был соленый.

Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал; в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики — не проявился ли в чем-нибудь и там изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантэн крикнул лакея.

Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик (ценивший простую, незамысловатую шутку) предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся.

— Вы всегда шутите так тонко? — спросил Валантэн. — Вам не приелся этот розыгрыш?

Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее; взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился.

Вдруг лакей захлебнулся словами.

— Я вот что думаю, — затараторил он. — Я думаю, это те священники. Те, двое, — пояснил лакей. — Которые стену супом облили.

— Облили стену супом? — переспросил Валантэн, думая, что это итальянская поговорка.

— Вот, вот, — волновался лакей, указывая на темное пятно. — Взяли и плеснули.

Валантэн взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет.

— Да, сэр, — сказал он. — Так оно и было, только сахар и соль тут, наверно, ни при чем. Совсем рано, мы только шторы подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой соби-

рал свертки, он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю — смотрю: пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да не догнал, они свернули на Карстейрс-стрит.

Валантэн уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял: во тьме неведения надо было идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и побежал по улице.

К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой; на открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высились груда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами — синие крупные буквы на картонном поле — гласила: «Лучшие мандарины. Две штуки за пенни»; надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи. Четыре пенса фунт». Валантэн прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил:

— Простите за нескромность, сэр, нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?

Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантэн продолжал, весело помахивая тростью:

— Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или — если я выражаюсь недостаточно ясно — почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше ростом и пониже?

Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки; казалось, он вот-вот кинется на нахала. Но он сердито проворчал:

— А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите: попы они там или кто, а рассыплют мне опять яблоки — кости переломая!

— Правда? — посочувствовал сыщик. — Они рассыпали ваши яблоки?

— Это все тот, коротенький,— разволновался зеленщик.— Прямо по улице покатались. Пока я их подбирал, он и ушел.

— Куда? — спросил Валантэн.

— Налево, за второй угол. Там площадь,— быстро сообщил зеленщик.

— Спасибо,— сказал Валантэн и упорхнул, как фея.

За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену:

— Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров?

Полисмен засмеялся басом.

— Видел,— сказал он.— Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и...

— Куда они пошли? — резко спросил сыщик.

— Сели в омнибус,— ответил полицейский.— Из этих, желтых, которые идут в Хемпстед¹.

Валантэн вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите двоих, пусть идут за мной!» — и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волей-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединились инспектор и человек в штатском.

— Итак, сэр,— важно улыбаясь, начал инспектор,— чем мы можем...

Валантэн выбросил вперед трость.

— Я отвечу вам на империале вон того омнибуса,— сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей.

Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого омнибуса, инспектор сказал:

— В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.

— Конечно,— согласился предводитель.— Если б мы знали, куда едем.

— А куда мы едем? — ошарашенно спросил инспектор.

Валантэн задумчиво курил; потом, вынув изо рта сигару, произнес:

— Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете — идите за ним. Блуждайте там, где он; останавливайтесь, где он; не обгоняйте его. Тогда вы увидите то,

¹ Х е м п с т е д — расположенное на холмистой местности аристократическое предместье на севере Лондона.

что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно: подмечать все странное.

— В каком именно роде? — спросил инспектор.

— В любом,— ответил Валантэн и надолго замолчал.

Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы; великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод — давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колена какой-то жуткой подзорной трубы. Все мы помним такие поездки — вот-вот покажется край света, но показывается только Тэфнел-парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать городов. Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально глядя в мелькающие мимо улицы. Когда Кэмден-таун¹ остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись: Валантэн вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился.

В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Валантэн победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля; здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла; но в середине этого окна, словно звезды во льду, зияла дырка.

— Наконец! — воскликнул Валантэн, потрясая тростью. — Разбитое окно! Вот он, ключ!

— Какое окно? Какой ключ? — рассердился полицейский. — Чем вы докажете, что это связано с ними?

От злости Валантэн чуть не сломал бамбуковую трость.

— Чем докажу! — вскричал он. — О господи! Он ищет доказательств! Скорей всего это никак не связано! Но что ж нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать?

Он ворвался в ресторан; за ним вошли полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то

¹ Тэфнел-парк, Кэмден-таун — улицы и соответствующие автобусные остановки по пути в Хемпстед.

и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла.

— Вижу, у вас окно разбито, — сказал Валантэн лакею, расплачиваясь.

— Да, сэр, — ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился. — Вот именно, сэр, — сказал он. — Ну и дела, сэр!

— А что такое? — небрежно спросил сыщик.

— Пришли к нам тут двое, священники, — поведал лакей. — Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они, один заплатил и пошел. Другой чего-то возится. Смотрю — завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю: «Вы лишнее дали», — а он остановился на пороге и так это спокойно говорит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился.

— Почему? — спросил сыщик.

— Я бы чем хотите поклялся, в счете было четыре шиллинга. А тут смотрю — четырнадцать, хоть ты тресни.

— Так! — вскричал Валантэн, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. — И что же?

— А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал. Ну, это будет за окно». — «Какое такое окно?» — говорю. «Которое я разобью», — и трах зонтиком!

Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил:

— Мы что, гонимся за сумасшедшим?

Лакей продолжал, смакуя смешную историю:

— Я так и сел, ничего не понимаю. А он догнал того, высокого, свернули они за угол — и как побегут по Баллок-стрит! Я за ними со всех ног, да куда там — ушли!

— Баллок-стрит! — крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался.

Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон; казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Ступались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хемпстедскому Лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Валантэн остановился за шаг до лавчонки, где торговали сладостями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью

отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось.

Костлявая женщина, старообразная, хотя и нестарая, смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца; но, увидев в джеле синюю форму инспектора, очнулась и заговорила.

— Вы, наверно, за пакетом? — спросила она. — Я его отослала.

— За пакетом?! — повторил Валантэн; пришел черед и ему удивляться.

— Ну, который тот мужчина оставил, священник, что ли?

— Ради бога! — воскликнул Валантэн и подался вперед; его пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу. — Ради бога, расскажите подробно!

— Ну, — не совсем уверенно начала женщина, — зашли сюда священники, это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то про се, и пошли к Лугу. Вдруг один бежит: «Я пакета не оставлял?» Я туда, сюда — нигде нету. А он говорит: «Ладно. Найдете — пошлите вот по такому адресу». И дал мне этот адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарила, а ушел он, глядь — пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда, где-то в Вестминстере. А сейчас я и подумала: наверное, в этом пакете что-то важное, вот полиция за ним и пришла.

— Так и есть, — быстро сказал Валантэн. — Близко тут Луг?

— Прямо идти минут пятнадцать, — сказала женщина. — К самым воротам выйдете.

Валантэн выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним.

Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь, под открытое небо, преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, которое зовется Долиной Здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись — на скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на Луг, Валантэн увидел наконец то, что искал.

Вдалеке чернели и расставались пары; одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили

вдаль. Они были не крупнее жуков; но Валантэн увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести футов. Валантэн сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Валантэн узнал: то был его попутчик по купе, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками.

Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест — драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, «серебряная вещь с камушками», а Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Валантэн, прекрасно мог узнать и Фламбо — Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его — это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо — блестящему актеру — ничего не стоило затащить его на этот Луг. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного священника и чуть не презирал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни бился — смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоях? Перепутанными ярлычками? Платой вперед за разбитое окно? Он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Валантэн упустил преступника; но ключ находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у него не было.

Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут; но шли они в самый дикий и тихий угол Луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь: они перебежали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им преградили заросли над обрывом; сыщики потеряли след и плута-

ли минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья; на ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантэн сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал наконец, о чем говорили странные священнослужители.

Он слушал минуту-другую, и бес сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, — благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостойн на них взглянуть. Беседа их была невинней невинного; ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе.

Первым донесся голос отца Брауна:

— ...то, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес.

Высокий священник кивнул склоненной головой.

— Да, — сказал он, — безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над нами, могут быть вселенные, где разум неразумен?

— Нет, — сказал отец Браун, — разум разумен везде.

Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу.

— Кто может знать, есть ли в безграничной Вселенной... — снова начал он.

— У нее нет пространственных границ, — сказал маленький и резко повернулся к нему, — но за границы нравственных законов она не выходит.

Валантэн сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним — ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ высокого и услышал только отца Брауна.

— Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Предста-

вьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна — синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все ту же заповедь: «Не укради».

Валантэн собрался было встать — у него затекло все тело — и уйти потише; в первый раз за всю жизнь он сморозил такую глупость. Но высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях:

— А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову.— И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил: — Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело.

Оттого что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся; его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха.

— Да,— все так же тихо сказал высокий,— да, я Фламбо.— Помолчал и прибавил: — Ну, отдадите вы крест?

— Нет,— сказал Браун, и односложное это слово странно прозвенело в тишине.

И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо.

— Не отдадите! — сказал он.— Еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк! А знаете почему? Потому что он у меня в кармане.

Маленький сельский священник повернул к нему лицо — даже в сумерках было видно, как он растерян,— и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный:

— Вы... вы уверены?

Фламбо взвыл от восторга.

— Ну, с вами театра не надо! — закричал он.— Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня — камешки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием.

— Да,— сказал отец Браун и все так же странно, несмело пригладил волосы,— я о нем слышал.

Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом.

— Кто? Вы? — спросил он. — От кого ж это вы могли слышать?

— Я не вправе назвать вам его имя, — просто сказал Браун. — Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать — подменял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу.

— Заподозрили? — повторил преступник. — Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?

— Ну да, — виновато сказал Браун. — Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано, это от наручников.

— А, черт! — заорал Фламбо. — Вы-то откуда знаете про наручники?

— От прихожан, — ответил Браун, кротко поднимая брови. — Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил, и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы подменили пакет. Ну а я подменил его снова и настоящий отослал.

— Отослали? — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой.

— Да, отослал, — спокойно продолжал священник. — Я вернулся в лавку и спросил, не оставял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер¹, моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься, — закончил он, виновато почесывая за ухом. — Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают...

Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал:

— Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстряпать! Крест у вас! Не дадите — отберу. Мы одни.

— Нет, — просто сказал отец Браун и тоже встал. — Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни.

Фламбо замер на месте.

— За этим деревом, — сказал отец Браун, — два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда при-

¹ В е с т м и н с т е р — центральный район Лондона, где находятся правительственные учреждения.

шли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук! Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку — сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу, и вы заплатили.

Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял, как зачарованный, — он хотел понять.

— Ну вот, — с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун. — Вы не оставляли следов — кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда — облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток.

— Чего я не сделал?

— Как хорошо, что вы о нем не слышали! — просиял священник. — Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна — я слабоват в коленках.

— Что вы несете? — спросил Фламбо.

— Ну уж про пятна-то, я думал, вы знаете! — обрадовался Браун. — Значит, вы еще не очень испорчены.

— А вы-то откуда знаете всю эту гадость? — воскликнул Фламбо.

— Наверное, потому, что я простак-холостяк, — сказал Браун. — Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник.

— Какая еще теория? — спросил изнемогающий Фламбо.

— Вы нападали на разум, — ответил Браун. — Это дурное богослобие.

Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры: он отступил назад и низко поклонился Валантэну.

— Не мне кланяйтесь, *mon ami*¹,— сказал Валантэн серебряно-звонким голосом.— Поклонимся оба тому, кто нас превзошел.

И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.

ТАЙНА САДА

Аристид Валантэн, начальник парижской полиции, опаздывал домой к званому обеду, и гости начали съезжаться без него. Их любезно встречал доверенный слуга Валантэна — Иван, старик со шрамом на лице, почти таком же сером, как его седые усы; он всегда сидел за столом в холле, сплошь увешанном оружием. Дом Валантэна был, пожалуй, не менее своеобразен и знаменит, чем его хозяин. Это был старинный особняк с высокими стенами и высокими тополями над самою Сеной, построенный довольно странно, хотя эта странность и была удобна для полицейских — никто не мог проникнуть в него, минуя парадный вход, где постоянно дежурил Иван со своим арсеналом. К дому примыкал сад, большой и ухоженный, туда вело множество дверей; от внешнего же мира его наглухо отгораживала высокая, неприступная стена, усаженная по гребню шипами. Такой сад как нельзя лучше подходил человеку, убить которого клялась не одна сотня преступников.

Как говорил Иван, хозяин звонил по телефону, что задержится минут на десять. Сейчас Валантэн занимался приготовлениями к смертным казням и прочими мерзкими делами; он всегда пунктуально выполнял эти обязанности, хотя они и были ему глубоко отвратительны. Беспощадность, с какой он разыскивал преступников, всегда сменялась у него снисходительностью, когда доходило до наказания. Поскольку он был величайшим во Франции, да и во всей Европе мастером сыщицких методов, его огромное влияние играло благотворную роль, когда речь шла о смягчении приговоров и улучшении тюремных порядков. Он принадлежал к числу великих вольнодумцев-гуманистов, которыми славится Франция; а упрекнуть их можно разве лишь в том, что их милосердие еще бездушнее, чем сама справедливость.

¹ Мой друг (*фр.*).

Валантэн приехал в черном фраке с алой розеткой (в сочетании с темной бородой, пронизанной первыми седыми нитями, они придавали ему весьма элегантный вид) и прошел прямо в свой кабинет, откуда вела дверь на садовую лужайку. Дверь эта была отворена, и Валантэн, тщательно заперев свой саквояж в служебном сейфе, постоял несколько минут около нее. Яркая луна боролась со стремительно летящими рваными, клочковатыми тучами (недавно прошла гроза), и Валантэн глядел на небо с грустью, не свойственной людям сугубо научного склада. Возможно, однако, что такие люди могут предчувствовать самые роковые события своей жизни. Как бы там ни было, он быстро справился со своими потаенными переживаниями, ибо знал, что запаздывает и гости уже прибывают.

Впрочем, войдя в гостиную, он сразу же убедился, что главного гостя пока нет. Зато были все другие столпы маленького общества. Был английский посол лорд Гэллоуэй, раздражительный старик с темным, похожим на сморщенное яблоко лицом и голубой ленточкой ордена Подвязки. Была леди Гэллоуэй, худая дама с серебряной головой и нервным, надменным лицом. Была их дочь, леди Маргарет Грэм, девушка с бледным личиком эльфа и волосами цвета меди. Были герцогиня Мон-сен-Мишель, черноглазая и пышная, и две ее дочери, тоже черноглазые и пышные. Был доктор Симон, типичный французский ученый, в очках и с острой каштановой бородкой; лоб его прорезали параллельные морщины — расплата за высокомерие, ибо образуются они от привычки поднимать брови. Был отец Браун из Кобхоула в графстве Эссекс; Валантэн недавно познакомился с ним в Англии. Увидел он — быть может, с несколько большим интересом — высокого человека в военной форме, который поклонился Гэллоуэям, встретившим его не особенно приветливо, и теперь направлялся к нему. Это был О'Брайен, майор французского Иностранного легиона — тощий, несколько чванливый человек, гладко выбритый, темноволосый и голубоглазый, и — что естественно для славного полка, известного блистательными поражениями, — одновременно и дерзкий и меланхоличный на вид. Ирландский дворянин, он был с детства знаком с семейством Гэллоуэев, особенно с Маргарет Грэм. Родину он покинул после какой-то истории с долгами и теперь демонстрировал пренебрежение к английскому этикету, щеголяя форменной саблей и шпорами. На его поклон леди и лорд Гэллоуэй ответили сдержанным кивком, а леди Маргарет отвела глаза.

Однако и сами эти люди, и их отношения не слишком трогали Валантэна. Во всяком случае, не ради них он устроил званый обед. С особым нетерпением он ждал всемирно известного человека, с которым свел дружбу во время одной из своих триумфальных поездок в Соединенные Штаты. Это был Джулиус К. Брейн, миллионер, чьи колоссальные, порой ошеломляющие пожертвования в пользу мелких религиозных общин столько раз давали повод для легковесного острословия и еще более легковесного славословия американским и английским газетчикам. Никто толком не понимал, атеист ли Брейн, мормон или приверженец христианской науки — он готов был наполнить звонкой монетой любой сосуд, лишь бы этот сосуд был новым. Между прочим, он ждал, не появится ли, наконец, в Америке свой Шекспир — ждал сколь терпеливо, столь же и тщетно. Он восхищался Уолтом Уитменом, но считал, что Льюк Тэннер из города Парижа в Пенсильвании прогрессивнее его. Ему нравилось все, что казалось прогрессивным. Таковым он считал и Валантэна; и ошибался.

Появление Джулиуса Брейна было грозным и весомым, как звон обеденного гонга. У богача было редкое качество — его присутствие замечали не меньше, чем его отсутствие. Это был очень крупный человек, дородный и рослый, одетый во фрак, сплошную черноту которого не нарушали даже цепочка часов или кольцо. Седые волосы были гладко зачесаны назад, как у немца. Красное лицо, сердитое и простодушное, было бы просто младенческим, если бы не один-единственный темный пучок под нижней губой, в котором было что-то театральное и даже мефистофельское. Впрочем, в гостиной недолго разглядывали знаменитого американца. Опоздание уже нарушило ход вечера, и леди Гэллоуэй, подхватив его под руку, увлекла без промедления в столовую.

Супруги Гэллоуэй на все смотрели благодушно и снисходительно, но и у них был повод для беспокойства. Лорду очень не хотелось, чтобы дочь заговорила с этим проходимцем О'Брайеном; однако она вполне прилично прошествовала в столовую в обществе доктора Симона. И все-таки лорду было беспокойно, он вел себя почти грубо. Во время обеда он еще сохранял дипломатическое достоинство. Но когда настал черед сигар и трое мужчин помоложе — доктор Симон, священник Браун и ненавистный О'Брайен, отщепенец в иностранном мундире, — куда-то исчезли, не то поболтать с дамами, не то покурить в оранжерее, британский дипломат вовсе утратил дипломатическую статью. Ему не да-

вала покоя мысль, что негодяй О'Брайен, может быть, где-то что-то нашептывает Маргарет. Его, лорда Гэллоуэя, оставили пить кофе в компании Брейна, выжившего из ума янки, который верит во всех богов, и Валантэна, сухаря француза, который ни во что не верит! Пусть бы уж спорили между собой, сколько влезет, но у него-то с ними нет ничего общего. Через какое-то время, когда прогрессивные словопрения зашли в тупик, лорд встал и отправился искать гостиную. Он проплутал по длинным коридорам минут шесть, а то и восемь, пока не услышал наконец назидательный тенорок доктора, потом — скучный голос священника, а после него — общий смех. Вот и эти, подумал он и выругался про себя, и эти тоже спорят о науке и религии... Но, отворив дверь в гостиную, он заметил одно: там не было майора О'Брайена и леди Маргарет.

Нетерпеливо выскочив из гостиной, как перед тем из столовой, он опять затопал по коридорам. Стремление оградить дочь от ирландско-алжирского авантюриста овладело им, как маньяком. По пути в заднюю часть дома, где помещался кабинет Валантэна, он, к своему изумлению, увидел дочь, которая пробежала мимо с презрительной гримаской на бледном лице. Новая загадка! Если она была сейчас с О'Брайеном, куда же делся он? Если нет, где же была она? Весь во власти ревнивой старческой подозрительности, он пробирался наугад по неосвещенным коридорам и в конце концов набрел на предназначенный для прислуги выход в сад. Кривой ятаган луны разодрал и разметал последние клочья облаков. Серебристый свет озарил все уголки сада. Через лужайку, ко входу в кабинет, крупными шагами двигался высокий человек в синем; отблеск луны на знаках различия изобличил в нем майора О'Брайена.

Он вошел в дом, оставив лорда Гэллоуэя разъяренным и растерянным сразу. Сине-серебристый сад, похожий на сцену театра, дразнил его хрупким очарованием, нестерпимым для грубой власти. Сила и грация ирландца бесили его, как будто он — не отец Маргарет, а соперник офицера; лунный свет приводил в иступление. Его словно бы заманили колдовством в сад трубадуров, в сказочную страну Ватто¹, и, чтобы потоком слов развеять нежный дурман, он энергично двинулся вслед врагу. При этом он споткнулся не то о дерево, не то о камень в траве и наклонился,

¹ Ватто Антуан — французский художник XVIII в., в творчестве которого преобладали театральные и любовные темы, фантастические сюжеты.

сперва с раздражением, затем — с любопытством. Еще через мгновение луна и высокие тополя стали свидетелями поразительного зрелища: пожилой английский дипломат бежал во всю прыть, оглашая воздух отчаянными воплями. На хриплые крики в дверях кабинета возникло бледное лицо доктора Симона — блик на стеклах очков, встревоженная бровь; он и услышал первые членораздельные слова.

— В саду труп... весь в крови! — воскликнул посол. О'Брайен начисто вылетел у него из головы.

— Надо немедленно сообщить Валантэну, — сказал доктор, когда Гэллоуэй сбивчиво поведал ему обо всем, что решился рассмотреть. — Хорошо еще, что он здесь.

При этих его словах в комнату вошел, привлеченный шумом, сам знаменитый детектив. Было почти забавно наблюдать, как он преобразился. Сперва он просто беспокоился как хозяин и джентльмен, что стало дурно кому-то из гостей или слуг. Когда же ему сказали о страшной находке, он со всей присущей ему уравновешенностью мгновенно превратился в энергичного и авторитетного эксперта, поскольку такое происшествие, при всей своей неожиданности и трагичности, было уже его профессиональным делом.

— Подумать только, — заметил он, когда они поспешили на поиски тела, — я изъездил весь свет, расследуя преступления, а теперь кто-то хозяйничает у меня в саду. Однако где же тело?

Они с трудом пересекли лужайку — от реки поднимался легкий туман, — но с помощью еще не оправившегося Гэллоуэя отыскали в высокой траве мертвое тело. Это был труп очень высокого и широкоплечего человека. Несчастный лежал ничком, и они увидели могучие плечи, черный фрак и большую голову, совсем лысую, если не считать нескольких прядей темных волос, прилипших к черепу, точно мокрые водоросли. Из-под уткнувшегося в землю лица ползла алая змейка крови.

— Ну что ж, — как-то странно произнес Симон, — во всяком случае, это не кто-нибудь из нас.

— Смотрите его, доктор, — бросил Валантэн довольно резко, — возможно, он еще жив.

Доктор наклонился над трупом.

— Он не совсем холодный, но, боюсь, вполне мертвый, — ответил он. — Помогите-ка мне приподнять его.

Они осторожно приподняли мертвого на дюйм от земли, и сразу же все сомнения были рассеяны самым ужасным образом: го-

лова отвалилась от тела. Тот, кто перерезал неизвестному горло, сумел перерубить и шею.

Это потрясло даже Валантэна. «Силен, как горилла»,— проворкотал он. Не без дрожи, хотя он был привычен к анатомированию трупов, доктор Симон поднял мертвую голову. На шее и подбородке виднелись порезы, но лицо осталось в общем неповрежденным. Грубое, желтое, изрытое впадинами, с орлиным носом и тяжелыми веками — это было лицо жестокого римского императора или, пожалуй, китайского мандарина. Все присутствующие взирали на него в полнейшем недоумении. Ничто больше не привлекло их внимания; разве только то, что, когда тело приподняли, в темноте забелела манишка и на ней заалела кровь. Убитый, как сказал доктор Симон, действительно не принадлежал к их компании, но, возможно, он собирался присоединиться к ней, поскольку был явно одет для такого случая.

Валантэн опустил на четвереньки и с величайшей профессиональной тщательностью исследовал траву и землю вокруг тела. Его примеру, хотя и не так ловко, последовал доктор, а также — совсем уж вяло — и английский посол. Их поиски не увенчались находками, если не считать обломленных или отрезанных веточек, которые Валантэн поднял и, бегло осмотрев, отбросил прочь.

— Так,— мрачно проговорил он,— кучка веток и совершенно посторонний человек с отрубленной головой. Больше ничего.

Нависла нервная тишина, и тут потерявший самообладание Гэллоуэй вдруг пронзительно вскрикнул:

— Кто это там? Вон, у забора!

В осветившейся под лунной туманной поволоке к ним нерешительно приблизился человек с несуразно большой головой. Его можно было принять за домового, но он оказался безобидным священником, которого они оставили в гостинной.

— Вот удивительно,— кротко проговорил он,— ведь здесь нет ни калитки, ни ворот...

Валантэн раздраженно насупил черные брови, как всегда при виде сутаны. Но он был справедлив и согласился.

— Да, вы правы,— сказал он.— Прежде чем мы выясним, что это за убийство, придется установить, как он здесь оказался. А теперь, господа, вот что. Если смотреть без предубеждений на мою должность и долг, то согласимся, что некоторых высокопоставленных лиц вполне можно и не вмешивать. Среди нас есть дамы и иностранный посол. Поскольку нам приходится констатировать

преступление, придется и расследовать его соответствующим образом. Но пока я могу поступать по собственному усмотрению. Я начальник полиции, лицо настолько официальное, что могу действовать частным образом. Надеюсь, я очишу от подозрения всех гостей до единого, прежде чем вызову своих сотрудников. Господа, под ваше честное слово прошу вас не покидать дом до завтрашнего полудня; спальни есть для всех. Симон, вы, должно быть, знаете, где найти моего слугу Ивана. Я доверяю ему во всем. Передайте, чтобы он оставил на своем месте кого-нибудь из слуг и сейчас же шел сюда. Лорд Гэллоуэй, никто не сможет лучше вас сообщить все дамам так, чтобы не вышло паники. Им тоже нельзя будет уезжать. Мы с отцом Брауном останемся у тела.

Когда в Валантэне говорил командирский дух, ему подчинялись, как боевой трубе. Доктор Симон отправился в вестибюль и прислал Ивана — частного детектива на службе у детектива государственного. Гэллоуэй проследовал в гостиную и сумел сообщить о трагических событиях так деликатно, что к тому времени, когда все собрались там, дамы успели и ужаснуться и успокоиться. Тем временем верный служитель церкви и правоверный безбожник застыли в головах и в ногах тупа, словно изваяния, олицетворяющие две философии смерти.

Из дома, как пушечное ядро, вылетел Иван, доверенный слуга со шрамом и усами, и бросился через лужайку к хозяину. Его серая физиономия так и сияла оттого, что в доме разыгрывается криминальный роман, и было что-то отталкивающее в том оживлении, с каким он спросил, нельзя ли осмотреть останки.

— Что ж, посмотрите, если хотите, — сказал Валантэн, — только поторопитесь. Нам надо идти в дом и кое-что выяснить.

Иван поднял мертвую голову и чуть не выронил.

— Господи! — разинув рот, выдохнул он. — Да это же... нет, не может быть! Вы знаете, кто это?

— Нет, — безразлично ответил Валантэн. — Но хватит, нам пора.

Вдвоем они внесли тело в кабинет, положили его на диван и пошли в гостиную.

Детектив сел за письменный стол неторопливо и даже как бы с нерешительностью, но взгляд его был тверд, как у председателя суда. Он что-то быстро записал на лежавшем перед ним листе бумаги, а затем коротко спросил:

— Все ли собрались?

МУДРОСТЬ ОТЦА БРАУНА

ОТСУТСТВИЕ МИСТЕРА КАНА

Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройствам, находился в Скарборо, и за окнами его — как и за другими огромными и светлыми окнами — сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент; а здесь и в комнатах царил невыносимый, поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке, — и роскошь и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут — на столике стояло коробок десять самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые — поближе. Был здесь и набор превосходных напитков, но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия — в левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих филологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали — читали, наверное; и все же казалось, что они прикреплены цепью, как Библия в старых церквях¹. Доктор Гуд читл свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам.

Доктор Орион Гуд мерил шагами пространство, ограниченное (как говорят в учебниках) Северным морем с востока, а с запада — рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небреж-

¹ Чтобы уберечь дорогой оклад от церковных воров, Библию прикрепляли цепью к кафедре.

ности. Волосы его сильно поседел, но не поредели; лицо было худое, но бодрое. И он и его жилище казались и тревожными и строгими как море, у которого он (ради здоровья, конечно) построил себе дом.

Судьба, по-видимому, шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления непохожего на них и на их владельца. В ответ на вежливое, краткое «прошу» дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошел бесформенный человечек, безуспешно борющийся с зонтиком и шляпой. Зонт был черный, старый, давно не ведавший починки; шляпа — широкополая, редкая в этих краях; владелец же их казался воплощением беззащитности.

Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое, безвредное чудище, выползшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина, сияя и отдуваясь, словно толстая служанка, втиснувшаяся в омнибус; как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала, упал и зонтик; он наклонился, чтоб их поднять, но круглое, радостное лицо было обращено к хозяину.

— Моя фамилия Браун, — проговорил он. — Простите меня, пожалуйста. Я из-за Макнэбов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так.

Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке.

— Я не совсем понимаю, — сказал ученый сдержанно и холодно. — Боюсь, вы ошиблись адресом. Я — доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам...

— Это как раз очень важно! — прервал его гость-коротышка. — Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться! — И он откинулся в кресле, явно торжествуя.

Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может, и смех.

— Понимаете, они хотят пожениться, — говорил человечек в странной шляпе. — Мэгги Макнэби и Тодхантер хотят пожениться. Что на свете важнее?

Профессорские триумфы отняли у Гуда многое — быть может, здоровье, быть может, веру; однако он еще умел дивиться нелепости. При последнем доводе что-то шелкнуло у него внутри, и он опустил в кресло, улыбаясь немного насмешливо, как врач на приеме.

— Мистер Браун, — серьезно сказал он, — прошло четырнадцать с половиной лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра. Сейчас, как я понимаю, дело идет о том, годится ли в невесты некоему Тодхантеру ваша знакомая по имени Мэгги. Что ж, мистер Браун, я люблю риск. Берусь вам помочь. Семейство Макнэбов получит совет, такой же ценный, как тот, что получили французский президент и английский король. Нет, лучший — на четырнадцать лет. Сегодня я свободен. Итак, что же у вас случилось?

Гость-коротышка поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно (так благодарят соседа, передавшего спички, а не прославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку), и сразу, без перерыва, перешел к рассказу.

— Я уже говорил, моя фамилия — Браун. Служу я в католической церковке, вы ее видели, наверное, — там, за мрачными улицами, в северном конце. На самой последней и самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Макнэб, женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнаты, и у нее есть дочь, и эта дочь, и она, и постояльцы... ну, каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец, зовут его Тодхантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери.

— А дочь? — спросил Гуд, сильно забавляясь. — Чего же хочет она?

— Как — чего? — воскликнул священник и выпрямился в кресле. — Выйти за него, конечно! В том-то и сложность.

— Да, загадка страшная, — сказал доктор Гуд.

— Джеймс Тодхантер, — продолжал священник, — человек хороший, насколько мне известно, а известно о нем немного. Он невысокий, смуглый, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер, и вежливый, как чичероне. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Макнэб, женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным, скорее всего — делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смиренные — он, бедняга, просто сидит часами взаперти. Он говорит, что это временно, так надо, до свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету, но миссис Макнэб твердо знает еще много вещей. Вам ли объяснять, как быстро порастают легендой пути неведения! Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса, а когда дверь открыта — жилец всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре вышел из ту-

мана, чуть ли не из моря, тихо пересек пляж и садик и говорил с Тодхантером у заднего окна. Кажется, беседа обернулась ссорой — хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане. Семья в это верит, но у миссис Макнэб есть и своя версия: тот, «другой» (кем бы он ни был), выходит по ночам из сундука, который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные «Тысячи и одной ночи». А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден, как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца, а главное, он пленил старшую, и она готова хоть сейчас за него замуж.

Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам. Знаменитый ученый не без гордости снизошел к простодушию священника. Усевшись поудобнее, он начал рассеянным тоном лектора:

— В любом, даже ничтожном, случае следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть, но цветы вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибой — есть. Для ученого история — цепь сменяющих друг друга миграций. Людские потоки приходят, затем — исчезают, как исчезают осенью мухи или птицы. Основа истории — раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому — дикая, исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши Макнэбы. Кельты малорослы, смуглы, ленивы и мечтательны; они легко принимают любое суеверие — скажем (простите, конечно), то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом моря и звуками органа (простите!), объяснят фантастическим образом самые обычные вещи? Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух голосах и выходе из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной стаи. Он видит, как тысячи старух в тысячах домов вливают ложку кельтской горечи в чайную чашку соседки. Он видит...

Тут за дверью снова раздался голос, на сей раз — нетерпеливый. По коридору, свистя юбкой, кто-то пробежал, и в кабинет ворвалась девушка. Одета она была хорошо, но не совсем аккуратно. Ее светлые волосы развевались, а лицо ее назвали бы прелестным, если бы скулы, как у многих шотландцев, не были шире и ярче, чем следует.

— Простите, что помешала! — воскликнула она так резко, словно приказывала, а не просила прощения. — Я за отцом Брауном. Дело страшное.

— Что случилось, Мэгги? — спросил священник, неуклюже поднимаясь.

— Кажется, Джеймса убили, — ответила она, переводя дух. — Этот Кан опять приходил. Я слышала через дверь два голоса. У Джеймса голос низкий, а у этого — тонкий, злой...

— Кан? — повторил священник в некотором замешательстве.

— Его так зовут! — нетерпеливо крикнула Мэгги. — Я слышала, они ругались. Из-за денег, наверное. Джеймс говорил все время: «Так... так... мистер Кан... нет, мистер Кан... два, три, мистер Кан». Ах, что мы болтаем! Идите скорее, еще можно успеть!

— Куда именно? — спросил ученый, с интересом глядевший на гостью. — Почему денежные дела мистера Кана требуют такой срочности?

— Я хотела выломать дверь, — сказала девушка, — и не смогла. Тогда я побежала во двор и вошла на подоконник. В комнате было совершенно темно, вроде бы пусто, но, честное слово, в углу лежал Джеймс. Его отравили, задушили...

— Это очень серьезно, — сказал священник и встал, не без труда собрав непокорные вещи. — Я сейчас говорил о вашем деле доктору, и его точка зрения...

— Сильно изменилась, — перебил ученый. — Кажется, в нашей гостье не так уж много кельтского. Сейчас я свободен. Надеюсь, вы пойдете со мной в город.

Несколько минут спустя они достигли мрачного устья нужной им улицы. Девушка ступала твердо и неутомимо, как горцы; ученый двигался мягко, но ловко, как леопард; священник семенил бодрой рысцой, не претендуя на изящество. Эта часть города в какой-то мере оправдывала рассуждения о навевающей печаль среде. Дома тянулись вдоль берега прерывистым, неровным рядом; сгущались ранние, мрачные сумерки; море, лиловое, как чернила, шумело довольно грозно. В жалком садике, спускавшемся к берегу, стояли черные, голые деревья, словно черти вскинули лапы от удивления. Навстречу бежала хозяйка, взметнув к небу худые руки; ее суровое лицо было темным в тени, и сама она чем-то походила на черта. Доктор и священник слушали, кивая, как она сообщает уже известные им вещи, прибавляя жуткие детали и требуя отмщения незнакомцу за то, что он убил, и жильцу — за то, что он убит, и за то, что он сватался к дочери, и за то,

что так и не дожид до свадьбы. Потом по узким коридорам они дошли до запертой двери, и доктор ловко, как старый сыщик, выломал ее плечом.

В комнате было тихо и страшно. Первый же взгляд неоспоримо доказывал, что тут отчаянно боролись по меньшей мере два человека. На столике и на полу валялись карты, словно кто-то внезапно прервал игру. Два стакана стояли на столике — вино налить не успели, — а третий звездой осколков сверкал на ковре. Неподалеку от него лежал длинный нож, верней — короткая шпага с причудливой, узорной рукоятью; на матовое лезвие падал серый свет из окна, за которым чернели деревья на свинцовом фоне моря. В другом углу поблескивал цилиндр, должно быть, сбитый с головы; и казалось, что он еще катится. В третий же угол небрежно, как куль картошки, кинули Джеймса Тодхантера, обвязав его, однако, словно багаж, и заткнув шарфом рот, и скрутив руки и ноги. Темные его глаза бегали по сторонам.

Доктор Орион Гуд постоял у порога, глядя туда, где все беззвучно говорило о насилии. Потом, быстро ступая по ковру, он пересек комнату, поднял цилиндр и, глядя очень серьезно, примерил его связанному Тодхантеру. Цилиндр был так велик, что закрыл едва не все лицо.

— Шляпа мистера Кана, — сказал ученый, разглядывая подкладку в лупу. — Почему же шляпа здесь, а владельца нет? Кан не грешит небрежностью в одежде, цилиндр — очень модный, хотя и не новый, его часто чистят. По-видимому, Кан — старый денди.

— О господи! — выкрикнула Мэгги. — Вы б лучше его развязали.

— Я намеренно говорю «старый», — продолжал Гуд, — хотя, быть может, доводы мои немного натянуты. Волосы выпадают у людей по-разному, но все же выпадают, и я бы различил через лупу мелкие волоски. Их нет. Потому я и считаю, что мистер Кан — лысый. Сопоставим это с высоким, резким голосом, который так живо описала мисс Макнэб (потерпите, мой друг, потерпите!), сопоставим лысый череп с истинно старческой сварливостью — и мы посмеем, мне кажется, сделать свои выводы. Кроме того, мистер Кан подвижен и почти несомненно — высок. Я мог бы сослаться на рассказ о высоком человеке в цилиндре, но есть и более точные указания. Стакан разбит, и один из осколков лежит на консоле над камином. Он бы туда не попал, если б разбился в руке такого невысокого человека, как Тодхантер.

— Кстати, — вмешался священник, — не развязать ли его?

— Стаканы говорят не только об этом,— продолжал эксперт.— Я сказал бы сразу, что мистер Кан лыс или раздражителен не столько от лет, сколько от разгульной жизни. Как известно, Тодхантер тих, скромн, бережлив, он не пьет и не играет. Следовательно, карты и стаканы он припас для данного гостя. Но этого мало. Пьет он или не пьет, вина у него нету. Что же было в стаканах? Осмелюсь предположить, что там было бренди или виски, по-видимому, дорогого сорта, а наливал его мистер Кан из своей фляжки. Мы узнаем определенный тип: человек высокий, молодой, элегантный, немного потрепанный, игрок и пьяница. Такие люди часто встречаются на обочине общества.

— Вот что,— закричала девушка,— если вы меня к нему не пустите, я побегу звать полицию!

— Не советовал бы вам, мисс Макнэб,— серьезно сказал Гуд,— спешить за полицией. Мистер Браун, прошу вас, успокойте своих подопечных — ради них, не ради меня. И так, мы знаем главное о мистере Кане. Что же мы знаем о Тодхантере? Три вещи: он скуповат, он довольно состоятелен, у него есть тайна. Всякому ясно, что именно это — характеристика жертвы шантажа. Не менее ясно, что поблекший лоск, дурные привычки и озлобленность — неоспоримые черты шантажиста. Перед вами типичные персонажи трагедии этого типа: с одной стороны, приличный человек, скрывающий что-то, с другой — стареющий стервятник, чующий добычу. Сегодня они встретились, столкнулись, и дело дошло до драки, верней, до кровопролития.

— Вы развяжете веревки? — упрямо спросила девушка.

Доктор Гуд бережно поставил цилиндр на столик и направился к пленнику. Он осмотрел его, даже подвинул и повернул немного, но ответил только:

— Нет. Я не развяжу их, пока полицейские не принесут наручников.

Священник, тупо глядевший на ковер, обратил к нему круглое лицо.

— Что вы хотите сказать? — спросил он.

Ученый поднял с ковра странную шпагу и, отвечая, внимательно разглядывал ее.

— Ваш друг связан,— начал он,— и вы решаете, что его связал Кан. Связал и сбежал. У меня же — четыре возражения. Во-первых, с чего бы такому щеголю оставлять по своей воле цилиндр? Во-вторых,— он подошел к окну,— это единственный выход, а он заперт изнутри. В-третьих, на клинке капля крови, а на Тодханте-

ре нет ран. Противник, живой или мертвый, унес эту рану на себе. И наконец, вспомним то, с чего мы начали. Скорей жертва шантажа прикончит своего мучителя, чем шантажист зарежет курицу, несущую золотые яйца. Кажется, довольно логично.

— А веревки? — спросил священник, восхищенно и растерянно глазевший на него.

— Ах, веревки... — протянул ученый. — Мисс Макнэб очень хотела узнать, почему я не развязываю ее друга. Что ж, отвечу. Потому что он и сам может высвободиться когда угодно.

— Что? — воскликнули все, удивляясь каждый по-своему.

— Я осмотрел узлы, — спокойно пояснил эксперт. — К счастью, я в них немного разбираюсь, криминологам это нужно. Каждый узел завязал он сам, ни одного не мог сделать посторонний. Уловка умная. Тодхантер притворился, что жертва — он, а не злосчастный Кан, чье тело зарыто в саду или скрыто в камине.

Все уныло молчали; становилось темнее; искривленные морем ветви казались чернее, суше и ближе, словно морские чудища выползли из пучины к последнему акту трагедии, как некогда выполз оттуда загадочный Кан, злодей или жертва, чудище в цилиндре. Смеркалось, словно сумерки — темное зло шантажа, гнуснейшего из преступлений, где подлость покрывает подлость черным пластырем на черной ране.

Приветливое и даже смешное лицо коротышки-священника вдруг изменилось. Его искривила гримаса любопытства — не прежнего, детского, а того, с какого начинаются открытия.

— Повторите, пожалуйста, — смущенно сказал он. — Вы считаете, что мистер Тодхантер сам себя связал и сам развяжет?

— Вот именно, — ответил ученый.

— О господи! — воскликнул священник. — Неужели правда?

Он засеменял по комнате как кролик и с новым пристальным вниманием воззрился на полузакрытое цилиндром лицо. Затем обернул к собравшимся свое лицо, довольно простоватое.

— Ну конечно! — взволнованно вскричал он. — Разве вы не видите? Да посмотрите на его глаза!

И ученый и девушка посмотрели и увидели, что верхняя часть лица, не закрытая шарфом, как-то странно кривится.

— Да, глаза странные, — заволновалась Мэгги. — Звери! Ему больно!

— Нет, не то, — возразил ученый. — Выражение действительно особенное... Я бы сказал, что эти поперечные морщины свидетельствуют о небольшом психологическом сдвиге...

— Боже милостивый! — закричал Браун. — Вы что, не видите? Он смеется!

— Смеется? — повторил доктор. — С чего бы ему смеяться?

— Как вам сказать... — виновато начал Браун. — Не хочется вас обидеть, но смеется он над вами. Я бы и сам посмеялся, раз уж все знаю.

— Что вы знаете? — не выдержал Гуд.

— Чем он занимается, — ответил священник.

Он семенил по комнате, как-то бессмысленно глядя на вещи и бессмысленно хихикая над каждой, что, естественно, всех раздражало. Сильно смеялся он над черным цилиндром, еще сильнее — над осколками, а капля крови чуть не довела его до судорог. Наконец он обернулся к угрюмому Гуду.

— Доктор! — восторженно вскричал он. — Вы — великий поэт! Вы, словно Бог, вызвали тварь из небытия. Насколько это чудесней, чем верность фактам! Да факты просто смешны, просто глупы перед этим!

— Не понимаю, — высокомерно сказал Гуд. — Факты мои неоспоримы, хотя и недостаточны. Я отдаю должное интуиции (или, если вам угодно, поэзии) только потому, что собраны еще не все детали. Мистера Кана нет...

— Вот-вот! — весело закивал священник. — В том-то и дело — его нет. Его совсем нет, — прибавил он задумчиво, — совсем; совершенно.

— Вы хотите сказать, его нет в городе? — спросил Гуд.

— Его нигде нет, — ответил Браун. — Он отсутствует по сути своей, как говорится.

— Вы действительно полагаете, — улыбнулся ученый, — что такого человека нет вообще?

Священник кивнул.

Орион Гуд презрительно хмыкнул.

— Что ж, — сказал он, — прежде чем перейти к сотне с лишним других доказательств, возьмем первое — то, с чем мы сразу столкнулись. Если его нет, кому тогда принадлежит эта шляпа?

— Тодхантеру, — ответил Браун.

— Она ему велика! — нетерпеливо крикнул Гуд. — Он не мог бы носить ее.

Священник с бесконечной кротостью покачал головой.

— Я не говорю, что он ее носит, — ответил он. — Я сказал, что это его шляпа. Небольшая, но все же разница.

— Что такое? — переспросил криминолог.

— Нет, подумайте сами! — воскликнул кроткий священник, впервые поддавшись нетерпению. — Зайдите в ближайшую лавку — и вы увидите, что шляпник вовсе не носит своих шляп.

— Он извлекает из них выгоду, — возразил Гуд. — А что извлекает из шляпы Тодхантер?

— Кроликов, — ответил Браун.

— Что? — закричал Гуд.

— Кроликов, ленты, сласти, рыбок, серпантин, — быстро перечислил священник, — Как же вы не поняли, когда догадались про узлы? И со шпагой то же самое. Вы сказали, что на нем нет раны. И правда — рана в нем.

— Под рубашкой? — серьезно спросила хозяйка.

— Нет, в нем самом, внутри, — ответил священник.

— А, черт, что вы хотите сказать?

— Мистер Тодхантер учится, — мягко пояснил Браун. — Он хочет стать фокусником, жонглером и чревовещателем. Шляпа — для фокусов. На ней нет волос не потому, что ее носил лысый Кан, а потому, что ее никто не носил. Стаканы — для жонглирования. Тодхантер бросал их и ловил, но еще не наловчился как следует и разбил один об потолок. И шпагой он жонглировал, а кроме того, учился ее глотать. Глотанье шпаг — почетное и трудное дело, но тут он тоже еще не наловчился и поцарапал горло. Там — ранка, довольно легкая, а то бы он был печальней. Еще он учился освобождаться от пут и как раз собирался высвободиться, когда мы ворвались. Карты, конечно, для фокусов, а на пол они упали, когда он упражнялся в их метании. Понимаете, он хранил тайну, фокусникам нельзя иначе. Когда прохожий в цилиндре заглянул в окно, он его прогнал, а люди наговорили таинственного вздора, и мы поверили, что его мучает щеголеватый призрак.

— А как же два голоса? — удивленно спросила Мэгги.

— Разве вы никогда не видели чревовещателя? — спросил Браун. — Разве вы не знаете, что он говорит нормально, а отвечает тем тонким, скрипучим, странным голосом, который вы слышали?

Все долго молчали. Доктор Гуд внимательно смотрел на священника, странно улыбаясь.

— Да, вы умны, — сказал он. — Лучше и в книге не напишешь. Только одного вы не объяснили: имени. Мисс Макнэб ясно слышала: «Мистер Кан».

Священник по-детски захихикал.

— А,— сказал он,— это глупее всего. Наш друг бросал стаканы и считал, сколько словил, а сколько упало. Он приговаривал: «Раз-два-три — мимо стакан, раз-два-три — мимо стакан...»

Секунду стояла тишина, потом все засмеялись. Тогда лежащий в углу с удовольствием сбросил веревки, встал, поклонился и вынул из кармана красно-синюю афишу, сообщавшую, что Саладин, первый в мире фокусник, жонглер, чревовещатель и прыгун, выступит с новой программой в городе Скарборо в понедельник, в восемь часов.

РАЗБОЙНИЧИЙ РАЙ

Прославленный Мускари, самобытнейший из молодых итальянских поэтов, быстро вошел в свой любимый ресторан, расположенный над морем, под тентом, среди лимонных и апельсиновых деревьев. Лакеи в белых фартуках расставляли на белых столиках все, что полагается к изысканному завтраку, и это обрадовало поэта, уже и так взволнованного свыше всякой меры. У него был орлиный нос, как у Данте, темные волосы и темный шарф легко отлетали в сторону, он носил черный плащ и мог бы носить черную маску, ибо все в нем дышало венецианской мелодрамой. Держался он так, словно у трубадура и сейчас была четкая общественная роль, как, скажем, у епископа. Насколько позволял век, он шел по миру, словно Дон Жуан, с рапирой и гитарой. Он возил с собой целый ящик шпаг и часто дрался, а на мандолине, которая тоже передвигалась в ящике, играл, воспевая мисс Этель Харрогит, чрезвычайно благовоспитанную дочь йоркширского банкира. Однако он не был ни шарлатаном, ни младенцем; он был логичным латинянином, который стремится к тому, что считает хорошим. Стихи его были четкими, как проза. Он хотел славы, вина, красоты с буйной простотой, которой и быть не может среди туманных северных идеалов и северных компромиссов; и северным людям его напор казался опасным, а может — преступным. Как море или огонь, он был слишком прост, чтобы ему довериться.

Банкир с дочерью остановились в том самом отеле, чей ресторан Мускари так любил; собственно, потому он и любил этот ресторан. Но сейчас, окинув взглядом зал, поэт увидел, что англичан еще нет. Ресторан сверкал, народу в нем было мало. В углу, за столиком, беседовали два священника, но Мускари, при всей его пламенной вере, обратил на них не больше внимания, чем на двух

ворон. От другого столика, наполовину скрытого увешанным золотыми плодами деревцем, к нему направился человек, чья одежда во всем противоречила его собственной. На нем был пегий клетчатый пиджак, яркий галстук и тяжелые рыжие ботинки. По канонам спортивно-мещанской моды, он выглядел и до грубости кричаще, и до пошлости обыденно. Но чем ближе подходил вульгарный англичанин, тем яснее видел удивленный тосканец, как не соответствует костюму его голова. Темное лицо, увенчанное черными кудрями, торчало, как чужое, из картонного воротничка и смешного розового галстука; и, несмотря на жуткие несгибаемые одежды, поэт понял, что перед ним — старый, забытый приятель по имени Эцца. В школе он был вундеркиндом, в пятнадцать лет ему пророчили славу, но, выйдя в мир, он не имел успеха ни в театре, ни в политике и стал путешественником, коммивояжером или журналистом. Мускари не видел его с тех пор, как он был актером, но слышал, что превратности этой профессии совсем сломили и раздавили его.

— Эцца! — воскликнул поэт, радостно пожимая ему руку. — В разных костюмах я тебя видел на сцене, но такого не ждал. Ты — и англичанин.

— Почему же англичанин? — серьезно переспросил Эцца. — Так будут одеваться итальянцы.

— Мне больше нравится их прежний костюм, — сказал поэт.

Эцца покачал головой.

— Это старая твоя ошибка, — сказал он, — и старая ошибка Италии. В шестнадцатом веке погоду делали мы, тосканцы: мы создавали новый стиль, новую скульптуру, новую науку. Почему бы сейчас нам не поучиться у тех, кто создал новые заводы, новые машины, новые банки и новые моды?

— Потому что нам все это ни к чему, — отвечал Мускари. — Итальянца не сделаешь прогрессивным, он слишком умен. Тот, кто знает короткий путь к счастью, не поедет в объезд по шоссе.

— Для меня итальянец — Маркони¹, — сказал Эцца. — Вот я и стал футуристом и гидом.

— Гидом! — засмеялся Мускари. — Кто же твои туристы?

— Некий Харрогит с семьей, — ответил Эцца.

— Неужели банкир? — заволновался Мускари.

¹ Маркони Гильермо (1874 — 1937) — итальянский инженер, первым осуществивший применение беспроводного телеграфа.

— Он самый,— сказал гид.

— Что ж, это выгодно? — спросил Мускари.

— Выгода будет,— странно улыбнулся Эцца и перевел разговор: — У него дочь и сын.

— Дочь богиня,— твердо сказал Мускари.— Отец и сын, наверное, люди. Но ты пойми, это все доказывает мою, а не твою правоту. У Харрогита миллионы, у меня — дыра в кармане. Однако даже ты не считаешь, что он умнее меня, или храбрее, или энергичней. Он не умен; у него глаза, как голубые пуговицы. Он не энергичен; он переваливается из кресла в кресло. Он нудный старый дурак, а деньги у него есть, потому что он их собирает, как школьник собирает марки. Для дела у тебя слишком много мозгов. Ты не преуспеешь, Эцца. Пусть даже для делового успеха и нужен ум, но только глупый захочет делового успеха.

— Ничего, я достаточно глуп,— сказал Эцца.— А банкира догугаешь потом, вот он идет.

Прославленный финансист действительно входил в зал, но никто на него не смотрел. Грузный, немолодой, с тускло-голубыми глазами и серо-бурыми усами, он походил бы на полковника в отставке, если бы не тяжелая поступь. Сын его Фрэнк был красив, кудряв, он сильно загорел и двигался легко; но никто и на него не смотрел. Все, как всегда, смотрели на золотую греческую головку и розовое, как заря, лицо, возникшее, казалось, прямо из сапфирового камня. Поэт Мускари глубоко вздохнул, словно сделал глубокий глоток. Так оно и было; он упивался античной красотой, созданной его предками. Эцца глядел на Этель так же пристально, но куда наглее.

Мисс Харрогит лучилась в то утро радостью, ей хотелось поболтать, и семья ее, подчинившись европейскому обычаю, разрешила чужаку Мускари и даже слуге Эцце разделить их беседу и трапезу. Сама же она была не только благовоспитанной, но и поистине сердечной. Она гордилась успехами отца, любила развлечения, легко кокетничала, но доброта и радость смягчали и облагораживали даже гордость ее и светский блеск.

Беседа шла о том, опасно ли ехать в горы, причем опасностью грозили не обвалы и не бездны, а нечто еще более романтическое. Этель серьезно верила, что там водятся настоящие разбойники, истинные герои современного мифа.

— Говорят,— радовалась она, как склонная к ужасам школьница,— здесь правит не король Италии, а король разбойников. Кто же он такой?

— Он великий человек, синьорина, — отвечал Мускари, — равный вашему Робин Гуду. Зовут его Монтано, и мы услышали о нем лет десять тому назад, когда никто уже и не думал о разбойниках. Власть его распространилась быстро, как бесшумная революция. В каждой деревне появились его воззвания, на каждом перевале — его вооруженные часовые. Шесть раз пытались власти его одолеть и потерпели шесть поражений.

— В Англии, — уверенно сказал банкир, — таких вещей не потерпели бы. Быть может, нам надо было выбрать другую дорогу, но гид считает, что и здесь опасности нет.

— Никакой, — презрительно подтвердил гид. — Я там проезжал раз двадцать. Во времена наших бабушек, кажется, был какой-то бандит по кличке Король, но теперь это — история, если не легенда. Разбойников больше не бывает.

— Уничтожить их нельзя, — сказал Мускари. — Вооруженный протест — естественное занятие южан. Наши крестьяне — как наши горы: они добры и приветливы, но внутри у них огонь. На той ступени отчаяния, когда северный бедняк начинает спиваться, наш берет кинжал.

— Хорошо вам, поэтам, — сказал Эцца и криво усмехнулся. — Будь синьор Мускари англичанином, он искал бы разбойников под Лондоном. Поверьте, в Италии столько же шансов попасть к разбойникам, как в Бостоне — к индейцам, снимающим скальпы.

— Значит, не обращать на них внимания? — хмурясь, спросил мистер Харрогит.

— Ох, как страшно! — ликовала его дочь, глядя на Мускари сияющими глазами. — Вы думаете, там и вправду опасно ехать?

Мускари встряхнул черной гривой.

— Я не думаю, — сказал он, — я знаю. Я сам туда завтра еду.

Харрогит-сын задержался у столика, чтобы допить вино и раскурить сигару, а красавица ушла с банкиром, гидом и поэтом.

Примерно в то же время священники, сидевшие в углу, встали, и тот, что повыше — седой итальянец, — тоже ушел. Тот, что пониже, направился к сыну банкира, который удивился, что католический священник — англичанин, и смутно припомнил, что видел его у каких-то своих друзей.

— Мистер Фрэнк Харрогит, если не ошибаюсь, — сказал он. — Мы знакомы, но я подошел не потому. Такие странные вещи лучше слышать от незнакомых. Пожалуйста, берегите сестру в ее великой печали.

Даже по-братски равнодушный Фрэнк замечал сверкание и радость сестры; смех ее и сейчас доносился из сада, и он в удивлении поглядел на странного советчика.

— Вы о чем, о разбойниках? — спросил он и прибавил, вспомнив свои смутные опасения: — Или о поэте?

— Никогда не знаешь, откуда придет горе, — сказал удивительный священник. — Нам дано одно: быть добрыми, когда оно приходит.

Он быстро вышел из зала, а его собеседник ошалело глядел ему вслед.

На следующий день лошади с трудом тащили наших путников по кручам опасного горного хребта. Эцца презрительно отрицал опасность, Мускари бросал ей вызов, семейство банкира упорно хотело ехать, и все поехали вместе. Как ни странно, на станции они встретили низенького священника, и он сказал, что и ему надо ехать туда же по делу. Харрогит-младший поневоле связал это со вчерашним разговором.

Сидели все в каком-то особом открытом вагончике, который изобрел и приспособил склонный к технике гид, руководивший поездкой деловито, учено и умно. О разбойниках больше не говорили, но меры предосторожности приняли: у гида и у сына были револьверы, у Мускари — шпага.

Поместился он чуть поодаль от прекрасной англичанки; по другую сторону сидел священник, представившийся как Браун и больше не сказавший ни слова. Банкир с сыном и гидом сидели напротив. Мускари был очень счастлив, и Этель вполне могло показаться, что он — в маниакальном экстазе. Но здесь, на кручах, поросших деревьями, как клумба — цветами, она и сама воспаряла с ним в алые небеса, к золотому солнцу. Белая дорога карабкалась вверх белой кошкой, огибала петлей темные бездны и острые выступы, взбиралась все выше, а горы по-прежнему цвели, как розовый куст. Залитая солнцем трава была зеленой, как зимородок, как попугай, как колибри; цветы пестрели всеми красками мира. Самые красивые луга и леса — в Англии, самые красивые скалы и пропасти — на Слоудоне¹ и Гленкоу²; но Этель никогда не видела южных лесов, растущих на круче, и ей казалось, что фруктовый сад вырос на приморских утесах. Здесь не было и в помине

¹ Слоудон — самая высокая гора Англии.

² Гленкоу — дорога в Шотландии, проходящая у горы Байен, где в 1692 г. был уничтожен клан Макдональдов, отказавшийся присягнуть королю Вильгельму III.

тоски и холода, которые у нас, англичан, связаны с высотой. Горы походили на мозаичный дворец после землетрясения или на тюльпановый сад после взрыва. Этель сказала об этом романтику Мускари.

— Наша тайна, — отвечал он, — тайна вулкана, тайна мятежа: и ярость приносит плоды.

— В вас немало ярости, — сказала она.

— Но плодов я не принес, — сказал он. — Если я сегодня умру, я умру холостым и глупым.

Она помолчала, потом неловко произнесла:

— Я не виновата, что вы поехали.

— Да, — кивнул поэт. — Вы не виноваты, что пала Троя.

Пока они беседовали, лошади вошли под сень скал, нависших, словно туча, над особенно опасным поворотом, и остановились, испугавшись внезапной тьмы. Кучер спрыгнул на землю, чтобы перерезать постромки, и потерял власть над ними. Одна из них встала на дыбы, во всю высоту коня, когда он становится двуногим. Вагонетка заскользила куда-то, как корабль, проломала кусты и упала с откоса. Мускари обнял Этель, она прижалась к нему и закричала. Ради таких минут он и жил на свете.

Горные стены багровой мельницей закружились вокруг него, но тут случилось нечто еще более странное. Сонный старый банкир встал во весь рост и прыгнул из вагонетки в пропасть прежде, чем она сама туда упала. На первый взгляд то было самоубийство; на второй оказалось, что это так же разумно, как внести деньги в банк. По-видимому, богач был энергичней и умнее, чем думал поэт: он приземлился на мягкой, зеленой, поросшей клевером лужайке, словно созданной для таких прыжков. Правда, и остальные упали туда же, хотя и не в такой достойной позе. Прямо под опасным поворотом находился кусочек земли, прекрасный, как подводный луг, — зеленый бархатный карман долгополого одеяния горы. Туда они и упали без особого для себя ущерба, только мелкие вещи рассыпались по траве. Вагонетка зацепилась за кусты, лошади с трудом сползли по склону. Первым поднялся на ноги священник и глупо и удивленно потер голову. Фрэнк Харрогит услышал, что он бормочет: «Господи, почему мы именно здесь упали?»

Моргая, священник огляделся и нашел свой нелепый зонтик. Рядом с ним лежала широкополая шляпа Мускари, подальше — запечатанное письмо, которое он, взглянув на адрес, отдал банкиру. В другой стороне, в траве виднелся отнюдь не нелепый

зонтик мисс Этель и тут же рядом — маленький флакончик. Священник взял его, быстро открыл, понюхал, и его простодушное лицо стало серым, как земля.

— Господи, помилуй! — тихо сказал он.— Неужели беда уже пришла? — Он спрятал флакончик в карман и прибавил: — Наверное, я имею на это право, пока не узнаю побольше.

Горестно глядя на девушку, он увидел, как она встает из цветов и Мускари говорит ей:

— Мы упали в небо. Это неспроста. Смертные карабкаются вверх, падают вниз. Вверх падают только боги.

Она встала из цветочного моря таким блаженным видением, что священник совсем успокоился. «В конце концов,— подумал он,— Мускари может носить с собой яд, он любит мелодраму».

Когда дама встала, держась за руку поэта, он низко ей поклонился, вынул кинжал и перерезал постромки. Лошади поднялись на ноги, сильно дрожа; и тут случилась еще одна удивительная вещь. Спокойный темнолицый человек в лохмотьях вышел из кустов. На поясе у него был странный нож, изогнутый и широкий; поэт спросил его, кто он, и он не ответил.

Поэт огляделся и увидел, что откуда-то снизу, опираясь локтями о край лужайки, на него смотрит еще один оборванец с дубленным лицом и коротким ружьем. Сверху, с дороги, в них целились четыре карабина, а над ними темнели четыре лица и сверкали восемь неподвижных глаз.

— Разбойники! — кричал Мускари.— Ловушка! Эцца, застрели-ка кучера, а я займусь этими. Их всего шесть штук,

— Кучера,— сказал Эцца, не вынимая рук из карманов,— нанял мистер Харрогит.

— Тем более! — нетерпеливо сказал поэт.— Значит, его подкупили. Застрели, потом вы окружите даму, и мы пробьемся.

Он бесстрашно пошел по траве и цветам прямо на карабины, но никто не последовал за ним, кроме Фрэнка. Гид стоял посреди лужайки, держа руки в карманах, и его длинное лицо становилось все длиннее в предвечернем свете.

— Ты думал, Мускари, что из меня ничего не вышло,— сказал он,— а из тебя вышло. Но я тебя обогнал, слава моя больше твоей. Я творил поэмы, пока ты их писал.

— Да что ты встал! — закричал Мускари.— Что ты порешь чушь? Надо спасти женщину! Кто же ты такой, честное слово?

— Я Монтано,— громко сказал странный гид.— Король разбойников. Рад видеть вас в моем летнем дворце.

Пока он говорил, еще пять человек вышли из кустов и встали, ожидая его приказаний. Один держал в руке какую-то бумагу.

— Гнездышко это,— продолжал царственный гид,— и пещеры там, пониже, называются разбойничьим раем. Его не видно ни снизу, ни сверху. Здесь я живу, здесь умру, если жандармы найдут меня. Смертью своей я распоряжаюсь сам.

Все глядели на него, не дыша, только отец Браун облегченно вздохнул.

— Слава тебе, Господи! — пробормотал он. — Это его яд. Он не хочет попасть в руки врага, как Катон.

Король разбойников тем временем говорил все с той же грозной вежливостью:

— Остается объяснить, на каких условиях я буду развлекать моих гостей. Достопочтенного отца Брауна и прославленного Мускари я отпущу завтра утром, и мой эскорт проводит их до безопасного места. У священников и поэтов денег нет. Поэтому я позволю себе выразить свое благоговение перед высокой поэзией и апостольской церковью.

Он неприятно улыбнулся, а отец Браун заморгал и стал слушать внимательней. Монтано взял у разбойников бумагу и говорил, заглядывая в нее:

— Все прочее ясно выражено в этом документе, который я дам вам прочитать, после чего его вывешят во всех деревнях долины и на всех развилках в горах. Суть его вот в чем: я сообщаю, что взял в плен английского миллионера, мистера Сэмюела Харрогита и обнаружил у него две тысячи фунтов, которые он мне вручил. Безнравственно говорить неправду доверчивым людям, так что придется это осуществить. Надеюсь, мистер Харрогит-старший сам вручит мне эти две тысячи.

По-видимому, беда возродила в банкире угасшее было мужество: он сунул красную, дрожащую руку в жилетный карман и вручил разбойнику пачку бумаг и писем.

— Прекрасно! — воскликнул тот. — Теперь — о выкупе. Друзья Харрогитов должны передать мне еще три тысячи, что до оскорбления мало, принимая во внимание ценность этой семьи. Не скрою, если денег не будет, могут произойти неприятные для всех вещи; но сейчас, господа и дамы, я обеспечу вам все удобства, включая вино и сигары. Рад вас приветствовать в разбойничьем раю.

Пока он говорил, сомнительные люди в грязных шляпах вылезали буквально отовсюду, так что даже Мускари понял, что пробиться сквозь них нельзя. Он огляделся. Этель утешала отца, ибо ее любовь к нему была сильнее, чем не лишенная снобизма гордость за него. Поэта, нелогичного, как все влюбленные, это и умилило и раздосадовало. Он сунул шпагу в ножны и бросился на траву. Священник присел рядом с ним.

— Ну как? — сердито спросил поэт. — Романтик я? Есть в горах разбойники?

— Может, и есть, — отвечал склонный к сомнению священник.

— Что вы хотите сказать? — резко спросил Мускари.

— Я хочу сказать, что Эцца или Монтано очень меня удивляет, — ответил Браун.

— Святая Мария! — воскликнул поэт. — Чем же именно?

— Тремя вещами, — тихо сказал священник. — Я рад вам о них рассказать и узнать ваше мнение. Во-первых, там, в ресторане, когда вы выходили, мисс Харрогит шла с вами впереди, отец с гидом — сзади, и я услышал, как Эцца говорит: «Пускай повеселится. Беда может прийти каждую минуту». Мистер Харрогит не ответил, так что слова эти что-нибудь да значили. Я предупредил ее брата, что ей угрожает беда, но я и сам не знал, какая. Если он имел в виду происшествие в горах, это просто чепуха — не станет же сам разбойник предупреждать жертву! Какая же беда должна случиться с мисс Харрогит?

— Беда с мисс Харрогит? — с яростью повторил поэт.

— Все мои загадки упираются в нашего гида, — продолжал священник. — Вот вторая. Почему он так подчеркивает в этой бумаге, что взял у банкира две тысячи? Выкуп от этого скорей не явится. Наоборот, друзья Харрогита больше испугались бы за него, если бы разбойники были бедны, то есть дошли бы до крайности.

— Да, это странно, — сказал Мускари и впервые совсем не театральнo почесал за ухом. — Вы мне не объясняете, вы меня совсем запутали. Какая же у вас третья загадка?

— Эта лужайка, — раздумчиво сказал отец Браун. — На нее очень удобно падать и приятно смотреть, она не видна ни сверху, ни снизу, это хороший тайник, но никак не крепость. Какая там крепость! Хуже не придумаешь. Проще простого взять ее оттуда, с дороги, а полиция по дороге и придет. Да нас самих тут удержало четыре карабина. Несколько солдат легко сбросили бы нас в про-

пасть. Что бы ни значил этот зеленый закуток, он совершенно беззащитен. Это не крепость, тут что-то другое, он ценен чем-то другим, а чем — не пойму. Скорее это похоже на артистическую уборную, или на подмостки для какой-то комедии, или...

Низенький священник вел свою нудную, искреннюю речь, а Мускари, наделенный звериной остротой чувств, услышал далеко в горах цокот копыт и приглушенные дально крики. Задолго до того, как эти звуки достигли слуха англичан, Монтано вспрыгнул на дорогу и встал у дерева. Обратившись в разбойничьего короля, он надел причудливую шляпу и перевязь со шпагой, которые никак не сочетались с грубошерстным костюмом.

Он повернул к разбойникам длинное зеленоватое лицо, взмахнул рукой, и оборванцы с карабинами, повинувшись каким-то военным соображениям, попрятались в кусты. Цокот становился все громче, дорога тряслась, чей-то голос выкрикивал команды. В кустах трещало и позвякивало, словно разбойники взводили курки или точили ножи о камень. Наконец звуки эти встретились: кроме того, затрещали ветви, заржали кони, закричали люди.

— Мы спасены! — воскликнул Мускари, вскакивая на ноги и размахивая шляпой. — Неужели мы все предоставим полиции? Нападем на мерзавцев с тыла! Жандармы спасают нас, спасем же и мы жандармов!

Он закинул шляпу на дерево, снова выхватил шпагу и полез на дорогу, наверх. Фрэнк побежал за ним, но отец властно окликнул его:

— Стой! Не вмешивайся.

— Ну что ты! — мягко возразил Фрэнк. — Разве ты хочешь, чтобы англичанин отстал от итальянца?

— Не вмешивайся, — повторил старик, сильно дрожа. — Поколимся судьбе.

Отец Браун посмотрел на него и схватился как будто бы за сердце; но, ощутив под пальцами стекло флакона, облегченно вздохнул, словно спасся от гибели.

Мускари, не дожидаясь помощи, вылез на дорогу и ударил кулаком короля разбойников. Тот пошатнулся, сверкнули клинки, но, не успели они скреститься, бывший гид засмеялся и опустил руки.

— Да ладно! — сказал он по-итальянски. — Скоро этому балагану конец.

— Ты о чем, негодяй? — закричал огнедышащий поэт. — Твоя храбрость — такой же обман, как твоя честь?

— У меня нет ничего настоящего, — благодушно отвечал Эцца. — Я актер, и если были у меня свои качества, я о них забыл. Я не разбойник и не гид. Я — маска на маске, а с личинами не сражаются.

Стемнело, но все же было видно, что разбойники скорее пугают коней, чем убивают людей, словно городская толпа, мешающая полиции проехать. Поэт в удивлении глядел на них, когда кто-то коснулся его локтя. Рядом стоял низенький священник, похожий на игрушечного Ноя в широкополой шляпе.

— Синьор Мускари, — сказал он, — простите мне мою нескромность. Не обижайтесь на меня и не помогайте жандармам. Любите ли вы эту девушку? То есть достаточно ли вы ее любите, чтобы жениться на ней и быть ей хорошим мужем?

— Да, — сказал Мускари.

— А она вас любит? — продолжал отец Браун.

— Наверное, да, — серьезно ответил Мускари.

— Тогда идите к ней, — сказал священник, — предложите ей все, что у вас есть. Время не терпит.

— Почему? — удивился поэт.

— Потому, — сказал священник, — что беда скачет к ней по дороге.

— По дороге скачет спасение, — возразил Мускари.

— Вы идите, — повторил священник, — и спасите ее от спасения.

Тем временем разбойники, ломая кусты, кинулись врассыпную и нырнули в густую зелень, а над кустами возникли треуголки жандармов. Снова раздалась команда, люди спешили, и высокий офицер с седой эспаньолкой появился там, где все недавно падали в разбойничий рай. И вдруг банкир закричал:

— Меня обокрали!

— Тебя давно обокрали, — удивился его сын. — Прошло часа два, как они забрали деньги.

— У меня забрали не деньги, а маленький флакон, — в спокойном отчаянии сказал банкир. Офицер с эспаньолкой шел к ним. Проходя мимо бывшего короля, он не то ударил, не то похлопал его по плечу и сказал:

— За такие шутки может и не поздоровиться.

Поэту показалось, что великих разбойников ловят не совсем так. Офицер подошел к Харрогитам и четко произнес:

НЕДОВЕРЧИВОСТЬ ОТЦА БРАУНА

ВОСКРЕСЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

В жизни отца Брауна был краткий период, когда он наслаждался — или, вернее, не наслаждался — неким подобием славы. Он стал кратковременной сенсацией в газетных статьях и даже главной темой для дискуссии в еженедельных обзорах. Его подвиги, перелагаемые на множество ладов, оживленно обсуждались в клубах и гостиных, особенно в Америке. Но самое нелепое и невероятное для его знакомых заключалось в том, что он стал героем детективных рассказов, публиковавшихся в журналах.

Блуждающий луч рампы настиг отца Брауна в самом уединенном, или, во всяком случае, в самом отдаленном из многочисленных мест его проживания. В качестве чего-то среднего между миссионером и приходским священником он был отправлен в один из тех уголков северного побережья Южной Америки, которые до сих пор ненадежно льнут к европейским державам или угрожают стать независимыми республиками под гигантской тенью президента Монро. Население здесь было красно-коричневым с розовыми вкраплениями, то есть испано-американо-индейским, но с заметной и постоянно увеличивавшейся примесью северных американцев, имевших английские и немецкие корни. Неприятности начались, когда один приезжий, только что высадившийся на берег и немало раздосадованный пропажей одного из своих чемоданов, приблизился к первому зданию, которое попало ему на глаза — католической миссии с примыкающей часовней, перед которой находилась длинная веранда и ряд столбиков, увитых черными лозами с большими угловатыми листьями, уже расцвеченными красками осени. За ними выстроился ряд сидящих людей, почти таких же неподвижных, как столбики, и расцвеченных на манер виноградных листьев. Хотя их широкополые шляпы были такими же черными, как их немигающие глаза, многие лица

казались высеченными из темно-красной древесины заокеанских лесов. Многие из них курили очень длинные и тонкие черные сигары, дым которых создавал единственное движение над этой сценой. Приезжий, вероятно, назвал бы их туземцами, хотя некоторые из них очень гордились испанской кровью. Но этот приезжий был не из тех, кто способен провести тонкое различие между испанцами и краснокожими, и предпочитал считать людей частью фона, как только навешивал на них ярлык местной принадлежности.

Он был газетчиком из Канзас-Сити — сухопарый блондин с «любопытным носом», по выражению Мередита. Действительно, создавалось впечатление, будто он ощупывает окружающее своим носом, чрезвычайно подвижным, словно хоботок муравьяда. Он носил фамилию Снейт, к которой его родители по неясным соображениям добавили имя Сол, которое он, по понятным причинам, старался скрывать от окружающих. В конце концов он стал называть себя Полом, хотя совсем по другим причинам, нежели апостол язычников. Напротив, если бы он разбирался в таких вещах, ему бы больше подошло имя гонителя Савла, а не апостола Павла, так как он относился к официальной религии с вежливым презрением, которое скорее можно усвоить у Ингрессола, чем у Вольтера. Но, как оказалось, вежливость составляла не самую важную сторону его характера, когда он повернулся к миссии и людям, сидевшим перед верандой. Что-то в их неприлично расслабленных позах и безразличных взглядах воспламенило его собственную жажду действий, а поскольку он не дождался ответов на свои первые вопросы, то взял на себя роль оратора.

Стоя под палящим солнцем в белой панаме, одетый с иголки, он стиснул свой саквояж стальной хваткой и гневно обратился к людям, сидевшим в тени. Он громогласно объяснил им, что они ленивы и нечистоплотны, чудовищно невежественны и в целом хуже животных, если только способны это понять. С его точки зрения, только вредоносное влияние религии могло довести их до такого скотского и угнетенного состояния, в котором они могли только сидеть в тени, курить да бездельничать.

— Что вы за безвольные существа, если позволяете помыкать собой этим кичливым болваном, только потому что они расхаживают в митрах, тиарах и парчовых ризах? — разглагольствовал он. — Они обращаются со всеми остальными, как с грязью, а вы глазете на их короны, балдахины и священные зонтики, словно дети в пантомиме. Какой-нибудь помпезный высший жрец мум-

бо-юмбо смотрит на вас, словно он властелин всего мира. А вы? Во что вы превратились, бедные простофили? Поэтому-то вы и скатываетесь обратно к варварству, не умеете читать и писать, и...

В этот момент высший жрец мумбо-юмбо в недостойной спешке выкатился из дверей миссии. Он не был похож на властелина всего мира, но скорее напоминал сверток поношенной черной одежды, кое-как застегнутой на коротком валике грузного туловища. Он не носил тиару, даже если имел ее, зато носил потрепанную широкополую шляпу, не слишком отличавшуюся от индейских и впопыхах сдвинутую на затылок. Он собрался было обратиться к неподвижным туземцам, но тут заметил незнакомо-го человека.

— Я могу вам чем-то помочь? — поспешно спросил он. — Не желаете ли зайти в дом?

Пол Снейт вошел в дом, где ему предстояло значительно расширить свои журналистские познания о многих вещах. Его репортерский инстинкт оказался сильнее предрассудков, поэтому он задал множество вопросов и получил ответы, удивившие и заинтриговавшие его. Он узнал, что индейцы умеют читать и писать по той простой причине, что священник научил их этому, но читают и пишут лишь по необходимости, так как предпочитают более непосредственное общение. Он узнал, что эти странные люди, неподвижно сидевшие перед верандой, неустанно трудятся на своих клочках земли — особенно те из них, в ком больше половины испанской крови. Еще больше его поразил тот факт, что все они имеют собственные земельные наделы. Во многом это было связано с давней традицией, но священник тоже сыграл определенную роль; при этом он, наверное, в первый и последний раз принял участие в политических делах, пусть и на местном уровне. Недавно по региону прокатилась волна атеистического и почти анархического радикального движения, периодически возникающего в странах латинской культуры, которое обычно начинается с создания тайного общества, а заканчивается гражданской войной. Лидером местных радикалов был некто Альварес, довольно колоритный авантюрист португальского происхождения, но с примесью негритянской крови, как утверждали его враги. Он возглавлял некие ложи и храмы того рода, где даже атеизм умудряется рядиться в мистические одежды. Лидером консервативной партии был фабрикант Мендоза, человек не такой интересный, зато очень богатый и респектабельный. По общему мнению, законность и порядок были бы совершенно утрачены, если бы влас-

ти не предприняли популярных мер, таких как закрепление земли за крестьянами; эта инициатива исходила главным образом из маленькой католической миссии отца Брауна.

Пока он беседовал с журналистом, в комнату вошел Мендоза, лидер консерваторов. Это был дородный смуглый мужчина с лысой головой, похожей на грушу, и туловищем, форма которого напоминала тот же фрукт. Он курил ароматическую сигару, но театральным жестом отбросил ее, когда приблизился к священнику, словно вошел в церковь, и поклонился с изяществом, почти невероятным для такого упитанного человека. Он чрезвычайно серьезно относился к общественным формальностям, особенно если речь шла о религиозных учреждениях. Можно сказать, он был одним из тех мирян, которые выглядят более воцерковленными, чем сами церковники. Это обстоятельство сильно смущало отца Брауна, особенно при личном общении.

«Я склонен считать себя антиклерикалом,— говорил он с легкой улыбкой,— но в мире было бы наполовину меньше клерикализма, если бы миряне оставили церковные дела клирикам».

— О, мистер Мендоза! — воскликнул журналист в новом приливе воодушевления.— Кажется, мы встречались раньше. Вы не были на торговом конгрессе в Мексике в прошлом году?

Тяжелые веки Мендозы дрогнули в знак признания, и по его лицу медленно расползлась улыбка.

— Я помню,— произнес он.

— Там за час-другой можно было повернуть очень выгодную сделку,— жизнерадостно продолжал Снейт.— Наверное, вы тоже остались довольны.

— Мне очень повезло,— скромно заметил Мендоза.

— Неужели вы сами верите в это? — с энтузиазмом воскликнул Снейт.— Удача приходит к людям, которые знают, когда сделать нужный ход, а вы это знаете очень хорошо. Но надеюсь, я не отвлекаю вас от важных дел?

— Все нет,— сказал Мендоза.— Я часто захожу к падре, чтобы немного побеседовать с ним. Это большая честь для меня.

Казалось, что такое близкое знакомство между отцом Брауном и известным, даже прославленным бизнесменом завершило духовное примирение между священником и практичным мистером Снейтом. Миссия приобрела для него более respectable вид, и он был готов закрыть глаза на такие случайные напоминания о религии, как часовня и дом католического священнослужителя. Он с энтузиазмом отнесся к просветительской

программе священника — во всяком случае, к ее светской и общественной стороне — и заявил о своей готовности в любой момент послужить живым телеграфом для связи со всем миром. Именно в этот момент отцу Брауну показалось, что симпатия журналиста еще более обременительна, чем его враждебность.

Пол Снейт энергично взялся за статьи об отце Брауне. Он писал о нем пространные и шумные панегирики, которые затем посылал через континент в свою газету на Среднем Западе. Он фотографировал несчастного клирика за самыми обычными занятиями и публиковал огромные фотографии на огромных разворотах американских воскресных газет. Он превращал высказывания священника в лозунги и неустанно поставлял миру «новые вести» от преподобного джентльмена в Южной Америке. Любой народ, менее крепкий и любознательный, чем американцы, вскоре очень устал бы от отца Брауна. В результате он получал вежливые и заманчивые предложения о проведении лекционного тура в США, а после его отказа поступили новые предложения с еще более выгодными условиями, выдержанные в еще более почтительном тоне. По инициативе мистера Снейта был задуман цикл рассказов наподобие историй о Шерлоке Холмсе, предложенный герою с просьбой о содействии и поддержке. Когда священник обнаружил, что рассказы уже публикуются, у него не осталось других предложений, кроме просьбы прекратить это безобразие. Это, в свою очередь, было воспринято мистером Снейтом как основа для дискуссии о том, не стоит ли временно похоронить отца Брауна, например сбросив его с утеса на манер Холмса. На все эти запросы священник терпеливо отвечал в письменном виде: он был согласен на такое условие временного прекращения рассказов и умолял, чтобы перерыв продолжался как можно дольше. Ответы, которые он писал, с каждым разом становились все короче, а закончив последний из них, он тяжело вздохнул.

Не стоит и говорить, что взрыв популярности в Северной Америке эхом отдался на юге, где отец Браун рассчитывал пожить в покое и уединении. Местные англичане и американцы преисполнились гордости оттого, что рядом с ними обитает столь широко разрекламированная личность. Американские туристы того рода, что, оказавшись в Британии, немедленно требуют показать им Вестминстерское аббатство, сразу же требовали показать им отца Брауна. Уже вырисовывалась перспектива экскурсионных поездов, названных в его честь, и массовых туров для осмотра местной достопримечательности. Отца Брауна особенно

беспокоили честолюбивые коммерсанты и владельцы магазинов, настойчиво предлагавшие ему попробовать их товары и дать свою рекомендацию. Даже если никаких рекомендаций не поступало, они продолжали переписку с целью получения автографов. Поскольку священник был добросердечным человеком, они многое получили от него. Но поворотным моментом в его жизни стал ответ на просьбу франкфуртского виноторговца Экштейна — всего лишь несколько слов, поспешно начертанных на визитной карточке.

Экштейн был суетливым курчавым коротышкой в пенсне. Он чрезвычайно настаивал, чтобы священник не только попробовал его знаменитый целебный портвейн, но и дал знать, где и когда это произошло. Отец Браун не особенно удивился этому требованию, потому что давно устал дивиться рекламным нелепостям. Он что-то нацарапал в ответ и вернулся к другим, более разумным делам. Но ему снова пришлось отвлечься, на этот раз из-за записки от его политического недруга Альвареса, который приглашал его на совещание, дающее надежду на компромисс между враждующими сторонами. Оно должно было состояться вечером, в кафе за старой городской стеной. На этот запрос отец Браун тоже отправил утвердительный ответ вместе с напыщенным курьером военного вида, который ждал снаружи, а в оставшиеся полтора-два часа попробовал немного позаниматься текущими делами. Когда пришло время собираться, он налил себе целебного портвейна мистера Экштейна, с улыбкой взглянул на часы, осушил бокал и вышел в ночь.

Маленький городок был залит лунным светом, поэтому, когда священник подошел к живописным воротам с аркой в стиле рококо и фантастическими силуэтами пальм на заднем плане, это напоминало сцену из испанской оперы. Длинный лист пальмы с зубренными краями, свисавший по другую сторону арки, виднелся в проеме и напоминал черную морду аллигатора. Прихотливый образ не задержался бы в воображении священника, если бы не другое обстоятельство, привлечшее его бдительный взор. Воздух был совершенно неподвижен, без единого дуновения ветерка, но он отчетливо видел, как свисающий пальмовый лист вдруг пошевелился.

Отец Браун оглянулся по сторонам и понял, что находится в полном одиночестве. Он оставил позади последние дома, в основном запертые и с закрытыми ставнями, и шел между двумя длинными голыми стенами, сложенными из больших плоских камней;

из щелей в кладке выбивались пучки колючих местных сорняков. Он не мог разглядеть огней кафе за аркой ворот — возможно, оно находилось слишком далеко. Под аркой не было видно ничего, кроме широкой разбитой мостовой, смутно белевшей в лунном свете, с разбросанными то тут, то там чахлыми кустиками опунции. Отец Браун остро чувал недоброе. Он испытывал почти физическую угнетенность, но и не подумал остановиться. Хотя он обладал немалым мужеством, оно все-таки уступало его неумному любопытству. Всю свою жизнь он руководствовался интеллектуальной жаждой истины, даже в мелочах. Ему часто приходилось сдерживать ее, хотя бы ради приличий, но она никуда не уходила.

Когда он прошел под аркой, с верхушки пальмы на другой стороне ловко, как мартышка, спрыгнул какой-то человек и замахнулся на него ножом. В то же мгновение из тени у стены быстро выскочил другой человек, который занес над головой дубинку и обрушил ее вниз. Отец Браун повернулся, зашатался и осел бесформенной кучей; на его круглом лице застыло выражение кроткого, но чрезвычайно сильного удивления.

В том же городке и в то же самое время жил молодой американец, сильно отличавшийся от Пола Снейта. Его звали Джон Адамс Рэйс, и он был инженером-электриком, нанятым Мендозой для того, чтобы оборудовать старую часть города современными осветительными устройствами. Он был гораздо менее искушен в сатире и международных сплетнях, чем американский журналист, но на самом деле в Америке на миллион таких людей, как Рэйс, приходится один такой человек, как Снейт. Он превосходно разбирался в своей работе, но во всех прочих отношениях был очень простым человеком. Он начал карьеру помощником фармацевта в поселке на западе страны и поднялся благодаря своему трудолюбию и врожденному таланту, но по-прежнему считал родной городок центром обитаемого мира. Его воспитали в чисто пуританской манере, с семейной Библией на коленях у матери, и он до сих пор хранил верность своему вероисповеданию, хотя и не часто вспоминал о нем из-за обилия работы. Посреди ослепительных огней самых ярких и необычных открытий, находясь на переднем крае научных экспериментов о творя чудеса света и звука подобно божеству, создающему новые звезды и солнечные системы, он ни на секунду не сомневался, что «дома» жизнь устроена лучше всего на свете — ведь там осталась мать, семейная Библия и тихое благочестие его поселка. Он почитал мать с таким серьезным рвением и искренностью, как если бы был любвеобильным

французом. Он пребывал в убеждении, что христианская вера является единственно правильной, но лишь смутно тосковал по ней каждый раз, когда оказывался в современном мире. От него едва ли можно было ожидать сочувственного отношения к религиозным излишествам католических стран; в своей неприязни к епископским митрам и посохам он разделял точку зрения Снейта, хотя и не на такой заносчивый манер. Он не питал склонности Мендозы к публичным поклонам и расшаркиваниям, но определенно не испытывал симпатии к масонскому мистицизму атеиста Альвареса. Вероятно, полутропический образ жизни, с краснокожими индейцами и испанской позолотой, был слишком экзотическим для него. Так или иначе, он не хвастался, когда сказал, что здесь нет ничего, что могло бы украсить его родной городок. Он действительно считал, что где-то есть нечто простое, невзыскательное и трогательное, и уважал это больше всего на свете. Но с недавнего времени у него возникло любопытное и необъяснимое чувство, противоречившее всем его убеждениям. Он не мог отвернуться от истины: единственной вещью во всех его путешествиях, которая хотя бы немного напоминала ему о старой поленнице, провинциальных добродетелях и Библии на коленях у матери, было круглое лицо и громоздкий черный зонтик отца Брауна.

Он обнаружил, что бессмысленно глазеет на невзрачную и даже комичную черную фигурку священника, расхаживавшего по улице, и рассматривает ее с почти болезненным увлечением, словно ходячую загадку или парадокс. Посреди всего, что он ненавидел, ему встретилось нечто вызывающее невольную симпатию. Он как будто претерпел ужасные пытки от рук младших демонов и вдруг узнал, что сам дьявол — вполне заурядная личность.

Случилось так, что, выглянув из окна в тот лунный вечер, он увидел дьявола во плоти, демона необъяснимой безупречности в широкополой черной шляпе и длинной черной сутане, бредущего по улице к городским воротам. Рэйс гадал, куда идет священник и что он затевает, и смотрел на залитую лунным светом улицу еще долго после того, как черная фигурка прошла мимо. Потом он увидел нечто другое, еще больше заинтересовавшее его. Два других человека, которых он узнал, прошли перед его окном, как актеры на сцене. Голубоватый свет образовывал призрачный нимб вокруг копны курчавых волос на голове маленького виноторговца Экштейна и очерчивал силуэт более высокой и темной фигуры с орлиным профилем, в старомодном тяжелом цилиндре, который

делал ее очертания еще более диковинными, словно в театре теней. Рэйс упрекнул себя за то, что позволил луне играть такие шутки с его воображением; со второго взгляда он узнал черные испанские бакенбарды и сухощавое лицо доктора Кальдерона, известного городского врача, который однажды оказывал Мендозе профессиональные услуги. Но в том, как эти двое перешептывались и оглядывались по сторонам, было что-то странное. Повинуясь внезапному порыву, Рэйс перепрыгнул через низкий подоконник и босиком зашагал по дороге вслед за ними. Он увидел, как они исчезли в темном арочном проеме, а секунду спустя оттуда донесся жуткий крик, удивительно громкий и пронзительный, показавшийся Рэйсу тем более зловещим, что кричавший отчетливо произнес несколько слов на неизвестном ему языке.

Послышался топот ног, новые крики, а потом раздался смешанный рев горя или бешенства, сотрясший привратные башенки и кроны пальм. В собравшейся толпе возникло слитное движение, как будто люди расступались от прохода. А потом под темными сводами послышался новый голос, на этот раз говоривший на понятном языке и прозвучавший как глас судьбы:

— Отец Браун мертв!

Рэйс так и не понял, что за опора рухнула в его сознании и почему то, на что он рассчитывал, вдруг подвело его. Он побежал к воротам и успел как раз вовремя, чтобы встретиться со своим соотечественником, журналистом Снейтом, который только что вышел из темноты, смертельно бледный и нервно похрустывавший пальцами.

— Это правда, — сказал Снейт со всем почтением, на какое только был способен. — Он обречен. Врач осмотрел его и сказал, что надежды нет. Какие-то проклятые даго проломили ему череп дубинкой, когда он проходил через ворота, — бог знает почему! Это огромная потеря для всего города.

Рэйс не ответил или, возможно, не мог ответить. Он отвернулся и побежал к сцене трагедии. Маленькая черная фигура лежала там, где упала, на широких плитах мостовой с пробивающимися зелеными колючками, а огромную толпу сдерживал какой-то великан, пользовавшийся в основном жестами. Многие подавались в сторону по одному мановению его руки, словно он был волшебником.

Диктатор и демагог Альварес был высоким, статным мужчиной и всегда одевался с излишней пышностью. Сейчас он носил

зеленый мундир, расшитый змейками серебряной тесьмы, а орден у него на шее был подвешен на ярко-бордовой ленте. Его коротко стриженные вьющиеся волосы уже поседели и по контрасту с его лицом (которое друзья называли оливковым, а враги черно-мазым) казались почти золотистыми. Его лицо с крупными чертами, обычно властное или обманчиво-добродушное, сейчас было серьезным и суровым, как подобало обстановке. Он объяснил, что ждал отца Брауна в кафе, когда услышал какой-то шорох и звук упавшего тела. Выбегав на улицу, он обнаружил труп, лежавший на мостовой.

— Я знаю, о чем думают некоторые из вас, — сказал он, с гордым видом оглядываясь вокруг. — Если вы боитесь меня, — а ведь вы боитесь, — я сам скажу это за вас. Я атеист. Я не могу призвать никакого бога себе в свидетели, но клянусь вам честью мужчины и солдата, что я непричастен к этому. Если бы убийцы сейчас оказались у меня в руках, я с радостью повесил бы их на этом дереве.

— Разумеется, нам приятно слышать это от вас, — чопорно ответил старый Мендоза, стоявший над телом своего павшего собеседника. — Этот удар слишком ужасен для нас, чтобы сейчас разглаживать о своих чувствах. Будет вернее и достойнее, если мы уберем тело моего друга и завершим этот нежданный митинг. Насколько я понимаю, нет никаких сомнений в его смерти? — сурово добавил он, обратившись к врачу.

— Никаких сомнений, — подтвердил Кальдерон.

Джон Рэйс вернулся домой опечаленным и с острым чувством утраты. Казалось невероятным, что он тоскует по человеку, которого даже не знал. Ему сказали, что похороны состоятся завтра. Все считали, что критический момент должен быть пройден как можно быстрее, так как опасались погромов и мятежей, которые с каждым часом становились все более вероятными. Когда Снейт впервые увидел индейцев, сидевших на веранде, они были похожи на ряд старинных ацтекских скульптур, вырезанных из красного дерева. Но ему не довелось видеть их, когда они узнали о гибели священника.

Они бы, несомненно, восстали и линчевали республиканского лидера, если бы не сиюминутная необходимость почтительно вести себя перед гробом их собственного духовного наставника. Настоящие убийцы, достойные кары больше, чем кто-либо другой, как будто растворились в воздухе. Никто не знал их имен и даже не был уверен, что умирающий человек видел их лица. Альварес, яростно отрицавший свою причастность к убийству, присутство-

вал на похоронах и шел за гробом в своем великолепном зеленом мундире с серебряным шитьем, словно бравируя своей невиновностью.

За верандой каменная лестница круто поднималась на зеленую насыпь, окаймленную живой изгородью из кактусов. Гроб с трудом подняли наверх и временно поставили у подножия большого распятия, возвышавшегося над дорогой и охранявшего освященную землю. Дорога внизу была запружена людьми, причитавшими и бормотавшими молитвы, — осиротевшими прихожанами, утратившими своего пастыря. Несмотря на все эти вызывающие проявления набожности, Альварес держался сдержанно и с достоинством, и, как впоследствии заметил Рэйс, все бы прошло хорошо, если бы другие оставили его в покое.

Рэйс с горечью подумал, что Мендоза всегда был похож на старого дурака, а теперь и вел себя как старый дурак. По местному обычаю гроб оставили открытым, и с лица покойника сняли саван, отчего простодушные местные жители запричитали еще громче. Это соответствовало традиции и не причинило бы никакого вреда, если бы какому-то чиновнику не пришло в голову совместить оплакивание покойного с пламенной речью над гробом на манер французских вольнодумцев. Мендоза завел длинную речь, и чем дольше он говорил, тем большее уныние охватывало Джона Рэйса и тем меньше сочувствия он испытывал по отношению к религиозному ритуалу. Перечень ангельских добродетелей самого замшелого типа был представлен слушателям с неспешной монотонностью послеобеденного оратора, не умеющего вовремя остановиться. Это само по себе было достаточно плохо, но по своей неисправимой глупости Мендоза начал укорять и даже обличать своих политических оппонентов. Не прошло и трех минут, как разразился скандал, имевший самые неожиданные последствия.

— Мы вправе спросить, можно ли найти подобные добродетели среди людей, бездумно отрекшихся от веры своих отцов, — говорил он, горделиво осматриваясь по сторонам. — Когда среди нас появляются атеисты, атеистические лидеры и даже, боже сохрани, атеистические правители, их позорная философия приносит плоды в виде таких преступлений. Если спросить, кто убил этого святого человека, можно не сомневаться, что...

В глазах полукровки и авантюриста Альвареса бушевали африканские страсти, и Рэйс неожиданно понял, что этот человек в конце концов является варваром, не способным обуздать свои

чувства. Можно было угадать, что его «просвещенный» мистицизм на самом деле замешан на культе вуду. Так или иначе, Мендозе пришлось замолчать, потому что Альварес вскочил на ноги и без труда перекричал его, так как имел куда более мощные легкие.

— Кто его убил? — проревел он. — Это ваш Бог убил его! Его собственный Бог прикончил его! Послушать вас, Он убивает всех своих глуповатых и преданных слуг, как убил *этого*. — Он энергично ткнул пальцем, но не в гроб, а в сторону распятия. Кое-как справившись со своими чувствами, он продолжал, все еще сердито, но более взвешенно: — Я этому не верю, зато вы верите. Не лучше ли обойтись без Бога, чем иметь такого, который грабит вас подобным образом? По крайней мере, я не боюсь сказать, что никакого Бога нет. Во всей этой слепой и безмозглой вселенной нет такой силы, которая могла бы внять вашим молитвам и вернуть вашего друга. Вы можете умолять небеса, чтобы он ожил, но он не воскреснет. Я могу потребовать от небес, чтобы он ожил, но он не воскреснет. Здесь и сейчас я бросаю вызов и отвергаю Бога, не способного воскресить человека, который уснул навеки!

Наступило потрясенное молчание; демагог получил свою сенсацию.

— Нам следовало бы знать, когда мы позволили таким людям, как вы... — сдавленным, клокочущим голосом начал Мендоза.

Его перебил новый голос — высокий и пронзительный, с американским акцентом.

— Прекратите! — выкрикнул Снейт. — Прекратите! Здесь что-то не так: я клянусь, что видел, как он шевельнулся!

Он взбежал по лестнице и устремился к гробу, а толпа внизу зашумела, охваченная неописуемым волнением. В следующее мгновение он обернулся с изумленным выражением на лице и поманил пальцем доктора Кальдерона, который поспешил к нему. Когда они отошли от гроба, все увидели, что положение головы покойника изменилось. Возбужденный рев толпы утих как по волшебству, потому что священник, лежавший в гробу, вдруг застонал, приподнялся на локте, заморгал и обвел собравшихся затуманенным взором.

Джон Адамс Рэйс, до сих пор знакомый лишь с чудесами науки, даже спустя годы так и не смог описать неразбериху, царившую в течение следующих нескольких дней. Он как будто выпал из пространства и времени и оказался в невероятном мире. За каких-то полчаса население городка и окрестностей превратилось в средневековую толпу, увидевшую небывалое чудо, или уподоби-

лось жителям древнегреческого города, где боги нисходили к людям. Тысячи людей простирались ниц на дороге, сотни принимали монашеские обеты, и даже такие чужаки, как два американца, не могли думать и говорить ни о чем, кроме чуда воскрешения. Сам Альварес был потрясен; он опустил на землю и обхватил голову руками.

Посреди этого вихря благодати находился один маленький человек, тщетно старавшийся, чтобы его услышали. Его голос был слабым и ломким на фоне оглушительного шума. Он делал робкие жесты, свидетельствовавшие скорее о раздражении, чем о чем-то другом. Он подошел к краю парапета над толпой и помахал руками, пытаясь успокоить людей, но его движения напоминали бессильное хлопанье крыльев пингвина. Толпа все же немного притихла, и тогда отец Браун впервые достиг той степени раздражения, когда он мог с гневом обрушиться на собственную паству.

— Эх вы, дураки,— произнес он высоким, дрожащим голосом.— Глупые вы, глупые люди!

Потом он внезапно собрался с силами, засеменял к лестнице и начал торопливо спускаться вниз.

— Куда вы, отец? — осведомился Мендоза с еще большим благоговением, чем обычно.

— На телеграф,— на ходу бросил отец Браун.— Что? Нет, разумеется, это не чудо. С какой стати? Чудеса не бывают таким дешевым представлением.

Когда он спустился по лестнице, люди стали простираться перед ним, умоляя о благословении.

— Господи, благослови,— поспешно говорил отец Браун.— Благослови и вразуми этих несчастных!

Он с необыкновенной скоростью припустил на почту, где отправил секретарю своего епископа телеграмму следующего содержания:

«Здесь ходят невероятные слухи о чуде; надеюсь, его преосвященство не даст ход этому делу. Ничего особенного не произошло».

Покончив с делом, он вдруг покачнулся от усталости, и Джон Рэйс поддержал его под локоть.

— Позвольте мне проводить вас домой,— сказал он.— Вы заслуживаете большего, чем вам дают эти люди.

Джон Рэйс и священник сидели в гостиной приходского дома. Стол еще был завален бумагами, над которыми вчера трудился

отец Браун; бутылка вина и пустой бокал стояли там, где он их оставил.

— Теперь я наконец могу собраться с мыслями,— почти сурово сказал отец Браун.

— Не слишком усердствуйте,— посоветовал американец.— Сейчас вам нужен покой. Кроме того, о чем вы собираетесь думать?

— Мне довольно часто доводилось принимать участие в расследовании убийств,— сказал священник.— Теперь я должен расследовать собственное убийство.

— На вашем месте я сначала бы выпил немного вина,— заметил Рэйс.

Отец Браун встал, наполнил бокал, поднял его, задумчиво посмотрел в пустоту и поставил вино на стол. Потом он снова сел и сказал:

— Знаете, что я чувствовал, когда умирал? Можете не верить, но я испытывал необыкновенное удивление.

— Полагаю, вы были удивлены, что вас огрели дубинкой по голове,— сказал Рэйс.

Отец Браун наклонился к нему.

— Ничего подобного,— тихо сказал он.— Я удивился, что меня не ударили дубинкой по голове.

Некоторое время Рэйс смотрел на него, словно раздумывая, не привел ли удар по голове к тяжким последствиям.

— Что вы имеете в виду? — наконец спросил он.

— Я имею в виду, что человек с дубинкой остановил удар в последний момент, так что она даже не коснулась моей головы. Точно так же второй человек вроде бы ударил меня ножом, но не нанес ни царапины. Все это было подстроено. Но потом произошло нечто необыкновенное.

Он задумчиво посмотрел на бумаги, разбросанные по столу, а затем продолжил:

— Хотя ни нож, ни дубинка не коснулись меня, я почувствовал, как у меня подгибаются ноги, а в глазах потемнело. Я понял, что мне нанесли удар, но только не этим оружием. Вы догадываетесь, что я имею в виду?

Он указал на бокал вина, стоявший на столе. Рэйс взял бокал, посмотрел на вино и понюхал его.

— Думаю, вы правы,— сказал он.— Я начинал помощником фармацевта и изучал химию. Не могу точно утверждать без анализа, но в это вино подмешали что-то очень необычное. Существу-

ют снадобья, с помощью которых азиаты погружают человека в сон, похожий на смерть.

— Именно так,— спокойно произнес священник.— Так называемое чудо было подстроено по той или иной причине. Сцену похорон явно отрепетировали и рассчитали время постановки. Думаю, отчасти это связано с безумной рекламной кампанией, которую устроил Снейт, но мне с трудом верится, что он мог зайти так далеко только ради славы. В конце концов, одно дело превращать меня в книжного героя и раскручивать как второго Шерлока Холмса. Я...

Священник вдруг замолчал, и выражение его лица резко изменилось. Помаргивающие глаза плотно закрылись, и он встал, словно ему не хватало воздуха. Потом он протянул вперед дрожащую руку, как будто нащупывая путь к выходу.

— Куда вы? — изумленно спросил американец.

— Мне нужно помолиться,— ответил отец Браун, чье лицо было белым как мел.— Или, вернее, вознести хвалу Господу.

— Ничего не понимаю. Что с вами случилось?

— Я собираюсь вознести хвалу Господу за невероятное спасение... в последний момент.

— Разумеется,— сказал Рэйс.— Я не принадлежу к вашему вероисповеданию, но достаточно религиозен, чтобы понять вас. Конечно, вы хотите поблагодарить Бога за чудесное спасение от гибели.

— Нет,— ответил священник.— Не от гибели, а от позора.

Американец вытаращил глаза, и следующие слова священника обрушились на него как лавина.

— Ах если бы только от моего позора! Но это было бы позором для всего, что мне дорого, позором для самой моей веры! Что бы тогда произошло! Самый громкий и отвратительный скандал с тех пор, как последняя лож застряла в глотке Титуса Оутса.

— О чем вы толкуете? — недоуменно воскликнул его собеседник.

— Лучше я сразу же расскажу вам,— сказал священник.

Он сел и продолжал уже более сдержанным тоном:

— Меня озарило, когда я упомянул о Снейте и Шерлоке Холмсе. Теперь я припоминаю, что писал по поводу его абсурдного замысла; тогда я ничего не подозревал, но думаю, они искусно подвели меня к тому, чтобы я написал именно эти слова. Фраза звучала примерно так: «Если это лучший выход, я готов умереть и вер-

нуться к жизни, как Шерлок Холмс». В тот момент, когда я подумал об этом, то осознал, что меня заставляли писать всевозможные вещи с той же целью. Например, я написал, словно обращаясь к сообщнику, что в определенное время выпью вина с подмешанным снадобьем. Теперь вы понимаете?

Рэйс вскочил на ноги, глядя на него.

— Да,— ответил он.— Кажется, я начинаю понимать.

— Они подстроили чудо. Потом те же самые люди разоблачили бы это чудо. И, что хуже всего, они бы доказали, что я сам принимал участие в заговоре. Это было бы *наше* фальшивое чудо. В этом и заключался их дьявольский план, недоступный для таких простаков, как мы с вами.

После небольшой паузы он тихо добавил:

— У них определенно была целая куча моих автографов.

Рэйс уперся взглядом в стол и мрачно спросил:

— Как вы думаете, сколько мерзавцев замешано в этом деле?

Отец Браун покачал головой.

— Больше, чем мне хотелось бы думать,— ответил он.— Но надеюсь, некоторые из них были лишь орудиями в руках других. Альварес мог подумать, что на войне все средства хороши; у него извращенный ум. Боюсь, что Мендоза оказался старым лицемером; я никогда ему не доверял, а он недолюбливал меня за проповеди среди его рабочих. Но все это может подождать; мне нужно лишь поблагодарить Бога за спасение, и особенно за то, что я сразу же отправил телеграмму епископу.

Джон Рэйс пребывал в глубокой задумчивости.

— Вы поведали мне много нового,— наконец сказал он.— Но кое-чего я все же не понимаю. Я могу понять, что эти типы все хорошо продумали. Они полагали, что любой человек, который просыпается в гробу и обнаруживает, что его собираются канонизировать как святого, который становится ходячим чудом и предметом всеобщего обожания, подыграет своим почитателям и примет венец славы, свалившийся на него с ясного неба. Их расчет был основан на самой практической психологии. Я видел всевозможных людей в разных местах и могу откровенно сказать, что едва ли найдется хотя бы один на тысячу, кто в таких обстоятельствах сохранит выдержку и, еще не вполне проснувшись, найдет в себе достаточно здравомыслия, простоты и смирения, чтобы...

ТАЙНА ОТЦА БРАУНА

ТАЙНА ОТЦА БРАУНА

Фламбо — один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему быть строгим по отношению к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в собственном замке. Замок был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром холме чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря на свои бурные похождения, Фламбо обладал свойством, присущим многим латинянам и незнакомым, например, американцам: он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести в старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не больше черной точки.

Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя очертаний, — попросту говоря, она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов. В руках он дер-

жал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, который давно собирался приехать — и все никак не мог. Они постоянно переписывались, но не видались несколько лет.

Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Его познакомили с деревянными позолоченными волхвами, которых дарят детям на Рождество; познакомили с собакой, кошкой и обитателями скотного двора; познакомили с соседом, который, как и сам Браун, отличался от здешних жителей и манерами и одеждой.

На третий день пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель и принялся отвешивать испанскому семейству поклоны, которым позавидовал бы испанский гранд. То был высокий, седовласый, очень красивый джентльмен с ослепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которую наши карикатуристы связывают с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и прямо, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая гнусавость, портившая его изысканную речь, и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Да, это был сам Грэндисон Чейс из Бостона, американский путешественник, отдыхающий от путешествий в точно таком же замке на точно таком же холме. Здесь, в своем поместье, он наслаждался жизнью и считал своего радушного соседа одной из местных древностей. Ибо Фламбо, как мы уже говорили, удалось глубоко пустить в землю корни, и казалось, что он провел века среди своих виноградников и смоковниц. Он вновь назывался своим настоящим именем — Дюрок, ибо «Фламбо», то есть «факел», было только псевдонимом, под которым такие, как он, ведут войну с обществом.

Он обожал жену и детей, из дому уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той respectable жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Камень, прикатившийся с Запада, был рад отдохнуть

возле южного камня, который успел обрасти таким пышным мхом.

Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера — сдержанный, но неукротимый — проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб,— надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам.

Они сидели во дворике, под навесом,— в Испании часто входят в дом через наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому здесь стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и рисуя на плоских плитах рдеющие узоры. Но ни один отсвет огня не достигал даже нижних кирпичей высокой голой стены, уходившей над ними в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, как сабли, усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из бочки темное вино и разливал его в бокалы. Священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким в его тени. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено; его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали умом и любопытством.

— Смею заверить вас, сэр,— говорил он,— что ваше участие в расследовании убийства человека о двух бородах — одно из величайших достижений научного сыска.

Отец Браун побормотал что-то невнятное, а может быть, застонал.

— Мы знакомы,— продолжал американец,— с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы видим, что ваш метод очень отличается от методов других детективов — как вымышленных, так и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода.

Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся или просто подвинулся к печке — и сказал:

— Простите... Да... Нет метода... Боюсь, что у них нет разума...

— Я имел в виду строго научный метод,— продолжал его собеседник.— Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону пришлось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упо-

минанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему.

— Да,— ответил священник, хмуро глядя на печку,— отказался.

— Ваш отказ вызвал массу толков! — подхватил Чейс.— Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она — оккультная.

— Какая она? — переспросил отец Браун довольно хмуро.

— Ну непонятна для непосвященных,— пояснил Чейс.— Надо вам сказать, у нас в Штатах как следует поломали голову над убийством Галлула и Штейна, и над убийством старика Мертона, и над двойным преступлением Дэлмона. А вы всегда попадали в самую гущу и раскрывали тайну, но никому не говорили, откуда вам все известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете не глядя. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о формах мышления. А «Общество сестер-духовидиц» в Индианополисе...

Отец Браун все еще глядел на печку, наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал:

— Ох! К чему это?!

— Этому горю не поможешь! — добродушно улыбнулся мистер Чейс.— У наших духовидиц хватка железная. По-моему, хотите покончить с болтовней — откройте вашу тайну.

Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно ему стало трудно думать. Потом поднял голову и глухо сказал:

— Хорошо! Я открою тайну.

Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик — от багровых глаз печки до древней стены, на которой все ярче блистали ослепительные южные звезды.

— Тайна... — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: — Понимаете, всех этих людей убил я сам.

— Что? — сдавленным голосом спросил Чейс.

— Я сам убил всех этих людей,— кротко повторил отец Браун.— Вот я и знал, как все было.

Грэндисон Чейс выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он еще раз спросил недоверчиво:

— Что?

— Я тщательно подготовил каждое преступление, — продолжал отец Браун. — Я упорно думал над тем, как можно совершить его, — в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он.

Чейс прерывисто вздохнул.

— Ну и напугали вы меня! — сказал он. — Я на минуту поверил, что вы действительно их поубивали. Я так и увидел жирные заголовки во всех наших газетах: «Сыщик в сутане — убийца. Сотни жертв отца Брауна». Что ж, это хороший образ... Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию...

Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось, а это бывало с ним очень редко.

— Нет, нет, нет! — сказал он чуть ли не гневно. — Никакой это не образ. Вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах. Просто хоть не говори! Стоит завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы выражаетесь образно. Один человек — настоящий, двуногий — сказал мне как-то: «Я верю в Святого Духа лишь в духовном смысле». Я его, конечно, спросил: «А как же еще в него верить?» — а он решил, что я сказал ему, будто надо верить только в эволюцию, или в этическое единомыслие, или еще в какую-то чушь. Еще раз повторю — я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в том — их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один друг — хорошее духовное упражнение. Кажется, он его нашел у Льва Тринадцатого, которого я всегда почитал.

— Боюсь, — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, — что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска...

Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами.

— Вот оно! — воскликнул он. — Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск — наука, криминология — наука? Они хотят сказать, что человека можно

изучать снаружи, как огромное насекомое. По их мнению, это беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они глядят на человека издали, как на ископаемое; они разглядывают «преступный череп», как рог у носорога.

Когда такой ученый говорит о «типе», он имеет в виду не себя, а своего соседа — обычно бедного. Конечно, иногда полезно взглянуть со стороны, но это не наука, для этого как раз нужно забыть то небольшое, что мы знаем. В другие нужно увидеть незнакомца и подивиться хорошо знакомым вещам. Можно сказать, что у людей — короткий выступ посреди лица или что мы впадаем в беспмятство раз в сутки. Но то, что вы назвали моей тайной, — совсем, совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я — внутри человека. Я поселяюсь в нем, у меня его руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.

— О! — произнес мистер Чейс, мрачно глядя на него. — И это вы называете духовным упражнением?

— Да, — ответил Браун. — Именно это. — Он помолчал, потом заговорил снова: — Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там, у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать; пока он не поймет, как мало права у него ухмыляться и толковать о «преступниках», словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу; пока он не перестанет так гнусно обманывать себя, так глупо болтать о «низшем типе» и «порочном черепе»; пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского еля; пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое.

Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом; точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил — впервые за весь вечер:

— Отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с занятными людьми.

— Да, я слышал об этих историях! — сказал Чейс, задумчиво поднимая бокал. — Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникли в душу преступника?

Отец Браун тоже поднял бокал, и в мерцании огня вино стало прозрачным, как кроваво-алый витраж с изображением мученика. Алое пламя приковало его взор: он не мог отвести от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всех людей на свете, а его душа, как пловец, смиренно углублялась во тьму чудовищных помыслов, глубже самых страшных чудищ, на самое илистое дно.

В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями, то, о чем его просили рассказать, заплясало перед ним, он снова видел все, о чем рассказано в этой книге.

Вот алое вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурями фигурками людей, один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился в огромный прозрачный рубин, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме тени высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру, над серой бесприютностью болот. Все это можно было увидеть и понять иначе, но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так — и образы стали складываться в доводы и сюжеты.

— Да,— сказал он, медленно поднося бокал к губам,— я как сейчас помню...

ЗЕРКАЛО СУДЬИ

Джеймс Бэгшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями и очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Первый из них — рослый, темноволосый, добродушный мужчина с узкой полоской усов на верхней губе — служил профессиональным

сыщиком в полиции, второй, невысокий блондин с пронизательным, резко очерченным лицом, был любитель, который горячо увлекался розыском преступников. Читатели этого рассказа, написанного с подлинно научной точностью, будут поражены, узнав, что говорил профессиональный полисмен, любитель же слушал его с глубокой почтительностью.

— Наша работа, пожалуй, единственная на свете,— говорил Бэгшоу,— в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными. Воля ваша, но никто не станет писать рассказ о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь, или об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему извозчичью премудрость в свете новейшей философии. При всем том я отнюдь не намерен отрицать, что мы часто склонны избирать наиболее проторенный путь или, иными словами, безуспешно действуем в соответствии с общепринятыми правилами. Но ошибка писателей заключается в том, что они упорно не дают нам возможности успешно действовать в согласии с общепринятыми правилами.

— Без сомнения,— заметил Андерхилл,— Шерлок Холмс, будь он сейчас здесь, сказал бы, что действует в согласии с правилами и по законам логики.

— Возможно, он был бы недалеко от истины,— подтвердил полисмен,— но я имел в виду правила, которым следует многочисленная группа людей. Нечто вроде работы в армейском штабе. Мы собираем и накапливаем информацию.

— А вам не кажется, что и в детективных романах это не исключено? — осведомился его друг.

— Что ж, давайте возьмем в виде примера любое из вымышленных дел, раскрытых Шерлоком Холмсом и Лестрейдом, профессиональным сыщиком.

Предположим, Шерлок Холмс может догадаться, что совершенно незнакомый ему человек, который переходит улицу,— иностранец, просто-напросто потому, что тот, опасаясь попасть под автомобиль, смотрит направо, а не налево, хотя в Англии движение левостороннее. Право, я охотно допускаю, что Холмс вполне способен сделать подобную догадку. И я глубоко убежден, что Лестрейду подобная догадка никогда и в голову не придет. Но при этом не следует упускать из виду тот факт, что полисмен хоть и не может порой догадаться, зато вполне может заве-

домо знать наверняка. Лестрейд мог точно знать, что этот прохожий — иностранец, хотя бы уже потому, что полиция, в которой он служит, обязана следить за иностранцами. Мне могут возразить, что полиция следит за всеми без различия. Поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много — ведь всякий стремится работать на совесть. Но я к тому же гражданин своей страны и порой задаюсь вопросом: а не слишком ли много знает полиция?

— Да неужели вы можете всерьез утверждать, — воскликнул Андерхилл с недоверием, — что знаете все о любом встречном, который попадает к вам на любой улице? Допустим, вон из того дома сейчас выйдет человек, — разве вы и про него все знаете?

— Безусловно, если он хозяин дома, — отвечал Бэгшоу. — Этот дом арендует литератор, румын по национальности, английский подданный, обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия — Озрик Орм, он принадлежит к новой поэтической школе, и стихи его неудобочитаемы, — разумеется, насколько я лично могу об этом судить.

— Но я имел в виду всех людей, которых встречаешь на улице, — возразил его собеседник. — Я думал о том, до чего все кажется странным, новым, безликим: эти высокие, глухие стены, эти дома, которые утопают в садах, их обитатели. Право же, вы не можете знать их всех.

— Я знаю некоторых, — отозвался Бэгшоу. — Вот за этой оградой, вдоль которой мы сейчас идем, находится сад, принадлежащий сэру Хэмфри Гвинну, хотя обыкновенно его называют просто судьей Гвинн: он — тот самый старейший судья, который поднял такой шум по поводу шпионажа во время мировой войны. Соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Родом он из Латинской Америки, смуглый такой, сразу видна испанская кровь, но фамилия у него чисто английская — Буллер. А вон тот дом, следующий по порядку... постойте, вы слышали шум?

— Я слышал какие-то звуки, — ответил Андерхилл, — но, право, понятия не имею, что это было.

— Я знаю, что это было, — сказал сыщик. — Это были два выстрела из крупнокалиберного револьвера, а потом — крик о помощи. И донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвинну, из этого рая, где всегда царят мир и законность. — Он зорко оглядел улицу и добавил: — А в ограде од-

ни-единственные ворота, и, чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрых полмили. Право же, будь эта ограда чуть пониже или я чуть полегче, тогда дело другое, но все равно я попытаюсь.

— Вон место, где ограда и впрямь пониже, — сказал Андерхилл, — и рядом дерево, оно там как нельзя более кстати.

Они пустились бежать вдоль ограды и действительно увидели место, где ограда круто понижалась, словно уходя в землю до половины, а дерево в саду, усеянное ярчайшими цветами, простирало наружу ветви, золотистые при свете одинокого уличного фонаря. Бэгшоу ухватился за кривой сук и перебросил ногу через невысокую ограду, мгновение спустя друзья уже стояли в саду, до колен утопая в ковре из цепких, стелющихся трав.

В этот ночной час сад судьи Гвинна выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним, в конце улицы. Дом этот можно назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни были закрыты наглухо и ни один луч света не проникал наружу сквозь их щели, по крайней мере, со стороны палисадника. Зато в самом саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен бы быть окутан тьмой, кое-где мерцали, догорая, искры, как будто после фейерверка, словно гигантская огненная ракета упала и рассыпалась меж деревьев. Продвигаясь вперед, друзья обнаружили, что это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья, подобно драгоценным плодам Аладдина, но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестяли и переливались бледные, разноцветные огоньки, будто и там тоже горели лампочки.

— Может быть, у него торжественный прием? — спросил Андерхилл. — Похоже, что сад иллюминирован.

— Нет, — возразил Бэгшоу. — Просто у него такая прихоть, и, думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей собственной маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вон в той отдельной пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Буллер, близкий его приятель, утверждает, что, когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак того, что его лучше не беспокоить.

— Нечто вроде красного сигнала, предупреждающего об опасности, — заметил Андерхилл.

— Боже правый! Боюсь, что это и есть именно такой сигнал! Тут сыщик пустился бежать к пруду.

А еще через мгновение Андерхилл сам увидел то, что видел его друг.

Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, иногда окружающий луну, а здесь окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты, или полосы, — как оказалось, то были две длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду.

— Скорей! — отрывисто вскрикнул сыщик — Кажется мне...

Голос его смолк в отдалении, потому что он уже мчался во весь дух через широкую лужайку, едва различимую при слабом электрическом освещении, и дальше напрямик через весь сад к пруду, у которого лежал неизвестный человек. Андерхилл рысцей последовал по его стопам, но вдруг испугался, потому что произошла неожиданность. Бэгшоу, который по прямой линии, как стрела, летел к незнакомцу, распростертому подле светящегося пруда, круто свернул в сторону и, еще прибавив прыти, помчался к дому. Андерхилл никак не мог сообразить, почему его друг так резко и внезапно переменял направление.

Но еще через секунду, когда сыщик нырнул в тень дома, оттуда, из мрака, послышалась возня, сопровождаемая ругательствами, а потом Бэгшоу вновь вынырнул оттуда, волоча за собой упирающегося человечка, шуплого и рыжеволосого. Пойманный, видимо, хотел скрыться за домом, но острый слух сыщика уловил шорох его шагов, едва слышный, словно трепыхание птички в кустах.

— Андерхилл, сделайте милость, — сказал сыщик, — бегите к пруду и посмотрите, что и как. Ну а вы кто такой будете? — спросил он, резко останавливаясь — Имя, фамилия?

— Майкл Флуд, — отвечал незнакомец вызывающим тоном. Был он маленький, тщедушный, с непомерно длинным крючковатым носом на узком и сухом, словно пергаментном личике, бледность которого была особенно заметна, оттененная огненно-рыжей шевелюрой. — Я тут, смею заверить, ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый, и мне стало страшно. Я из газеты, хотел взять у него интервью.

— Когда вы, газетчики, берете интервью у знаменитостей, — заметил Бэгшоу, — разве принято у вас перелезать для этого через садовую ограду?

ПОЗОР ОТЦА БРАУНА

СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ОТЦОМ БРАУНОМ

Было бы нечестно, повествуя о приключениях отца Брауна, умолчать о той скандальной истории, в которую он оказался однажды замешан. И по сей день есть люди — наверное, даже среди его прихожан, — утверждающие, что имя его запятнано. Случилось это в Мексике, в живописной придорожной гостинице с несколько сомнительной репутацией, как выяснилось позже. По мнению некоторых, в тот раз пристрастие к романтике и сочувствие человеческим слабостям толкнули отца Брауна на совершенно безответственный и даже безнравственный поступок. Сама по себе история очень проста, своей простотой-то она и удивительна.

Троя погибла из-за Елены, этот же прискорбный случай произошел по вине прекрасной Гипатии Поттер.

Американцы отличаются особым талантом (который европейцы не всегда умеют ценить) создавать авторитеты снизу, так сказать, по инициативе широкой публики. Как все хорошее на свете, такой порядок имеет свои светлые стороны; одна из них, уже отмеченная мистером Уэллсом и другими, состоит, например, в том, что человек может пользоваться влиянием, не занимая при этом никакого поста. Красивая женщина играет роль некоронованной королевы, даже если она не кинозвезда и не стопроцентная американка по Гибсону. И вот среди красавиц, имевших счастье — или несчастье — быть у всех на виду, оказалась некая Гипатия Хард. Она уже прошла подготовку под карточку цветистых комплиментов в разделах светской хроники местных газет и достигла положения особы, у которой стремятся получить интервью настоящие журналисты.

Очаровательно улыбаясь, она успела высказаться о Войне и Мире, о Патриотизме и Сухом законе, об Эволюции и Библии. Ни

один из этих вопросов не затрагивал основ ее популярности, да и трудно, пожалуй, сказать, на чем она, собственно, основывалась, эта ее популярность. Красота и богатый папаша — не редкость у нее на родине, но в ней было еще что-то особо притягательное для блуждающего ока прессы. Почти никто из поклонников в глаза ее не видел и даже не надеялся увидеть, и ни один не рассчитывал извлечь для себя пользу из доходов ее отца. Ее популярность была просто романтической легендой, современным субститутотом мифологии, и на этом фундаменте впоследствии выросла другая романтическая легенда, более красочная и бурная, героиней которой предстояло ей стать и которая, как думали многие, вдребезги разнесла репутацию отца Брауна, а также и некоторых других людей.

Те, кому американская сатира дала прозвище «сестер-плакальщиц»¹, вынуждены были принять — одни восторженно, другие покорно — ее брак с одним весьма достойным и всеми уважаемым бизнесменом по фамилии Поттер. Считалось позволительным даже называть ее иногда миссис Поттер, при этом само собой разумелось, конечно, что ее муж — всего только муж миссис Поттер.

И тут разразился большой скандал, превзошедший самые заманчивые опасения ее недругов и друзей. Имя Гипатии Поттер стали связывать с именем некоего литератора, проживавшего в Мексике, американца по подданству, но *ВЕСЬМА латинского американца по духу*. К сожалению, его пороки, как и ее добродетели, всегда служили лакомой пищей для газетных репортеров. Это был не кто иной, как прославленный — или обесславленный — Рудель Романес, поэт, чьи книги завоевали всемирную популярность благодаря изъятиям из библиотек и преследованиям со стороны полиции. Как бы то ни было, но ясная и мирная звезда Гипатии Поттер блистала теперь на небосводе в непосредственной близости от этой кометы. Он действительно походил на комету, поскольку был волосат и горяч, первое явствовало из портретов, второе — из стихов. И как всякая комета, он обладал разрушительной силой: за ним в виде огненного хвоста тянулась цепь разводов, что одни объясняли его успехами в роли любовника, а другие — провалами в роли мужа. Гипатии приходилось нелегко.

¹ Насмешливое название американских журналисток сентиментального направления.

Человек, который должен на глазах у публики вести безупречную личную жизнь, испытывает свои трудности — чувствует себя манекеном в витрине, где для всеобщего обозрения оборудован уютный домашний уголок. Газетные репортеры публиковали какие-то туманные фразы относительно Великого Закона Любви и Высшего Самовыражения. Язычники ликовали. «Сестры-плакальщицы» допустили в своих комментариях нотку романтического сожаления, у некоторых из них — наиболее закаленных — даже хватило смелости процитировать строки из известного стихотворения Мод Мюллер о том, что на свете нет слов печальнее, чем «Это могло бы быть...». А мистер Эгер П. Рок, ненавидевший «сестер-плакальщиц» праведной лютой ненавистью, заявил, что по данному поводу он полностью солидарен с Брет Гарттом, предложившим свой вариант известного стихотворения:

Куда печальнее нам видеть вещи суждено.
Так есть, однако ж быть так не должно.

Ибо мистер Рок был твердо — и справедливо — убежден в том, что очень многого не должно было бы быть.

Он беспощадно и яростно критиковал деградацию общества на страницах газеты «Миннеаполисский метеор» и вообще был человек смелый и честный. Быть может, в своем негодовании он проявлял некоторую односторонность, но это чувство было у него здоровой реакцией на сентиментальную манеру современной прессы и так называемого общественного мнения смешивать праведное и неправедное. И прежде всего он боролся против того святотатственного ореола славы, которым окружаются бандиты и гангстеры. Правда, в своем раздражении он чересчур склонен был исходить из предпосылки, что все гангстеры — латиноамериканцы, а все латиноамериканцы — гангстеры. Однако этот его предрассудок, хотя, быть может, и отдающий провинцией, все же производил освежающее впечатление в той атмосфере восторженно-трусливого поклонения героям, когда профессиональный убийца почитался как законодатель мод, если только, по отзывам печати, он улыбался неотразимой улыбкой и носил безупречный смокинг.

К моменту, когда, собственно, начинается эта история, предубеждения против латиноамериканцев переполнили душу мистера Рока, потому что он как раз находился на их территории; решите-

льно и гневно шагая вверх по холму, он направлялся к белому зданию отеля в живописном кольце пальм, где, по слухам, остановились Поттеры и, стало быть, находился двор таинственной королевы Гипатии. Эгер Рок даже с виду был типичный пуританин, скорей даже, пожалуй, мужественный пуританин XVII столетия, а не один из тех менее жестоких и более грамотных их потомков, которые расплодился в XX веке. Если б ему сказали, что его необычная старомодная черная шляпа, обычный хмурый взор и суровое, как из камня высеченное лицо набрасывают мрачную тень на солнечные пальмы и виноградники, он, несомненно, был бы польщен. Влево и вправо устремлял он взор, горящий неусыпным подозрением. И вдруг на гребне холма, впереди себя, на фоне субтропического заката увидел силуэты двух фигур в таких позах, которые и у менее подозрительного человека могли бы возбудить кое-какие подозрения.

Один из тех двоих выглядел сам по себе примечательно. Он стоял как раз в том месте, где дорога переваливает через холм, четко рисуясь на фоне неба над долиной, словно нарочно выбрал и эту позицию и эту позу. Закутанный в широкий черный плащ, в байроническом стиле, он высоко вскинул голову, которая в своей темной красе была удивительно похожа на голову Байрона. Те же вьющиеся волосы, те же глубоко вырезанные ноздри, и даже нечто вроде того же презрения к миру и негодования сквозило во всей его фигуре. В руке он сжимал довольно длинную палку, или, вернее, трость с острым наконечником, какими пользуются альпинисты, и сейчас она казалась фантастическим подобием копья. Впечатление это еще усиливалось благодаря контрасту с комическим обликом второго человека, державшего в руке зонт. Это был совершенно новый, тщательно свернутый зонт, совсем не такой, например, как знаменитый зонт отца Брауна. И сам приземистый, толстый человечек с бородкой был одет аккуратно, точно клерк, в легкий воскресный костюм. Но прозаический его зонт был угрожающе поднят, словно изготовлен к нападению. Защищаясь, высокий человек с палкой быстро шагнул ему навстречу, но тут вся сцена вдруг приобрела комический вид: зонт сам собой раскрылся, заслонив своего упавшего владельца, и противник его оказался в позе рыцаря, пронзающего копьем карикатурное подобие щита. Но он не стал заходить дальше и вонзять копьё глубже; выдернув острие своей трости, он с раздражением отвернулся и зашагал по дороге прочь. Низенький человечек поднялся с зем-

ли, аккуратно сложил зонт и тоже зашагал по дороге, но в противоположном направлении, к отелю.

Рок не слышал ни слова из того, что было сказано сторонами этого нелепого вооруженного конфликта, но, идя по дороге вслед за низеньким бородатым человеком, он о многом успел подумать. Романтический плащ и несколько опереточная красота одного в сочетании со стойкой самообороной другого как нельзя лучше совпадали с той историей, ради которой он приехал в Мексику, и он заключил, что этих двоих зовут Романес и Поттер. Догадка его полностью подтвердилась, когда, войдя из-под колоннады в вестибюль, он услышал голос бородатого, звучавший не то сварливо, не то повелительно.

По-видимому, он говорил с управляющим или с кем-то из прислуги и, насколько разобрал Рок, предостерегал их против какого-то весьма опасного субъекта, появившегося в округе.

— Даже если он уже побывал в отеле, — говорил бородатый в ответ на какие-то неразборчивые возражения, — я все же настаиваю, чтобы больше его не впускали. За такими типами должна следить полиция, и, уж во всяком случае, я не позволю, чтобы он докучал леди.

В мрачном молчании слушал его Рок, и уверенность его росла; затем он проскользнул через вестибюль к нише, где находилась книга для записи приезжих, и, раскрыв ее на последней странице, убедился, что «тип» действительно побывал в отеле: имя Руделя Романеса, этой романтической знаменитости, было вырисовано в книге крупными буквами иностранного вида, а немного пониже, довольно близко друг от друга, стояли имена Гипатии Поттер и Элиса Т. Поттера, выписанные добропорядочным и вполне американским почерком.

Эгер Рок недовольно озирался и повсюду вокруг себя, даже в небогатой внутренней отделке отеля, видел то, что было ему больше всего ненавистно.

Может быть, и неразумно негодовать из-за того, что на апельсиновых деревьях — даже на тех, что растут в кадках, — зреют апельсины; еще того неразумнее возмущаться, что ими пестрят старенькие занавески и выцветшие обои. Но для него, как ни странно, эти узоры в виде красно-золотых солнц, перемежающихся кое-где серебряными лунами, были квинтэссенцией всего самого недопустимого.

Они воплощали в его глазах слабохарактерность и падение нравов, которые он, исходя из своих принципов, осуждал в современном обществе и которые он, исходя из своих предрассудков, связывал с теплом и негой юга. Его раздражал даже вид потемневшего полотна, на котором неясно вырисовывался неизменный пастушок Ватто¹ со своей гитарой, или голубой кафель с обязательным купидончиком верхом на дельфине. Здравый смысл мог бы подсказать ему, что все эти предметы он, наверное, не раз видел в витринах магазинов на Пятой авеню, однако здесь они были для него дразнящими голосами сирен — исчадий языческого Средиземноморья. Внезапно все вокруг него переменилось, как меняется неподвижное отражение в зеркале, когда по нему промелькнет быстролетная тень, и комнату наполнило чье-то требовательное присутствие. Он медленно, даже нехотя, обернулся и понял, что перед ним — знаменитая Гипатия, о которой он столько читал и слышал в течение многих лет.

Гипатия Поттер, урожденная Хард, обладала той особенной красотой, в применении к которой эпитет «лучистая» сохраняет свое первоначальное, прямое значение: ее воспетая газетчиками Индивидуальность исходила от нее в виде ослепительных лучей. Она не стала бы менее красивой и сделалась бы, кое на чей вкус, только более привлекательной, если бы не столь щедро одаривала всех этими лучами, но ее учили, что подобная замкнутость — чистейший эгоизм.

Она могла бы сказать, что целиком отдала себя на службу обществу; правильнее было бы сказать, что она, наоборот, обрела себя на службе обществу; но так или иначе служила она обществу вполне добросовестно. И поэтому ее ослепительные голубые глаза действительно разили, точно мифические стрелы Купидона, которые убивают на расстоянии. Впрочем, цели, которых она при этом добивалась, носили абстрактный характер, выходящий за пределы обычного кокетства. От белокурых, почти бесцветных волос, уложенных вокруг головы в виде ангельского нимба, казалось, исходила электрическая радиация. Когда же она поняла, что стоящий перед ней незнакомец — не кто иной, как мистер Эгер Рок из «Миннеаполисского метеора», ее глаза заработали, как сверхмощные прожекторы, обшаривающие горизонты Соединенных Штатов.

¹ Ватто Антуан (1684—1721) — французский художник.

Однако на этот раз, как вообще иногда случалось, прекрасная дама ошиблась. Сейчас Эгер Рок не был Эгером Роком из «Миннеаполисского метеора».

Он был просто Эгером Роком, и в душе его возник могучий и чистый моральный порыв, не имевший ничего общего с грубой деятельностью газетного репортера.

Сложное, смешанное — рыцарское и национальное — чувство красоты и вдруг родившаяся потребность немедленно совершить какой-нибудь высоконравственный поступок, — также черта национальная, — придали ему храбрости выступить в новой возвышенно-оскорбительной роли. Он припомнил другую Гипатию, прекрасную последовательницу неоплатоников, припомнил свой любимый эпизод из романа Кингсли¹, где молодой монах бросает героине упрек в распутстве и идолопоклонстве. И, остановившись перед Гипатией Поттер, строго и твердо произнес:

— Прошу прощения, мадам, но я хотел бы сказать вам несколько слов с глазу на глаз.

— Ну что ж, — ответила она, обводя комнату своим сияющим взором, — только можно ли считать, что мы с вами здесь с глазу на глаз?

Рок тоже оглядел комнату, но не увидел никаких признаков жизни, кроме апельсиновых деревьев в кадках да еще одного предмета, который был похож на огромный черный гриб, но оказался шляпой какого-то священника, флегматично курившего черную мексиканскую сигару и в остальном столь же неподвижного, как и всякое растение. Задержав взгляд на тяжелых, невыразительных чертах его лица, Рок отметил про себя деревенскую неотесанность, довольно обычную для священников латинских и в особенности латиноамериканских стран, и, рассмеявшись, слегка понизил голос:

— Ну, не думаю, чтоб этот мексиканский падре понимал наш язык. Где этим ленивым увальням выучить какой-нибудь язык, кроме своего! Конечно, я не поклянусь, что он мексиканец, он может быть кем угодно: метисом или мулатом, например. Но что это не американец, я ручаюсь, — среди нашего духовенства нет таких низкосортных типов.

¹ Кингсли Чарлз (1819—1875) — английский писатель и англиканский священник.

— Собственно говоря,— произнес низкосортный тип, вынув изо рта черную сигару,— я англичанин. Моя фамилия Браун. Но могу, если угодно, уйти отсюда, чтобы не мешать вам.

— Если вы англичанин,— в сердцах обратился к нему Рок,— вы должны испытывать естественный нордический протест против всего этого безобразия. Довольно, если я скажу, что здесь, в окрестностях отеля, бродит чрезвычайно опасный человек, высокого роста, в плаще, как эти безумные стихотворцы со старинных портретов.

— Ну, это еще мало о чем говорит,— мягко заметил священник,— такие плащи здесь носят очень многие, потому что после захода солнца сразу становится холодно.

Рок метнул на него мрачный настороженный взгляд, как будто бы подозревал тут какую-то увертку в пользу широкополых шляп и лунного света.

— Дело не только в плаще,— проворчал он,— хотя, конечно, надет он был странно. Весь облик этого человека — театральный, вплоть до его проклятой театральной красоты. И если вы позволите, мадам, я бы настоятельно советовал вам не иметь с ним ничего общего, вздумай он сюда явиться. Ваш муж уже приказал служащим отеля не впускать его...

Но тут Гипатия вскочила и каким-то странным жестом закрыла лицо, запустив пальцы в волосы. Казалось, тело ее сотрясали рыдания, но, когда она снова взглянула на Рока, обнаружилось, что она хохочет.

— Ах, какие же вы смешные! — проговорила она и, что было совсем не в ее стиле, со всех ног бросилась к двери и исчезла.

— Этот смех похож на истерику,— немного смутившись, заметил Рок и растерянно обратился к маленькому священнику: — Понимаете, я считаю, что раз вы англичанин, то, во всяком случае, должны быть на моей стороне против разных этих латинян. Право, я не из тех, кто разглагольствует об англосаксах, но ведь есть же такая наука, как история. Всегда можно доказать, что цивилизацию Америке дала Англия.

— Следует также признать, дабы смирить нашу гордыню,— сказал отец Браун,— что Англии цивилизацию дали латиняне.

И опять у Рока появилось неприятное чувство, что собеседник в чем-то скрытно и неуловимо его опровергает, отстаивая ложные позиции; и он буркнул, что не понимает, о чем идет речь.

— А как же, был, например, один такой латинянин, или, может, правильнее сказать, италяшка, по имени Юлий Цезарь; его еще потом зарезали: сами знаете, как они любят поножовщину. И был другой, по имени Августин¹, который принес христианство на наш маленький остров. Без этих двух невелика была бы сейчас наша цивилизация.

— Ну, это все древняя история,— раздраженно сказал журналист.— А я интересуюсь современностью. И я вижу, что эти негодяи несут язычество в нашу страну и уничтожают остатки христианства. И к тому же уничтожают остатки нашего здравого смысла. Установившиеся обычаи, твердые общественные порядки, традиционный образ жизни фермеров, какими были наши отцы и деды,— все, все превращается в этакую горячую кашлицу, сдобренную нездоровыми чувствами и сенсациями по поводу разводов кинозвезд, и теперь глупые девчонки стали считать, что брак — это всего лишь способ получить развод.

— Совершенно верно,— сказал отец Браун.— Разумеется, в этом я полностью с вами согласен. Но не будем судить слишком строго. Возможно, что южане действительно несколько более подвержены слабостям такого рода. Нельзя забывать, однако, что и у северян есть свои слабости. Может быть, здешняя атмосфера в самом деле излишне располагает к простой романтике...

Но при последнем слове извечное негодование вновь забушевало в груди Эгера Рока.

— Ненавижу романтику,— провозгласил он, ударив кулаком по столу.— Вот уже сорок лет как я изгоняю это безобразие со страниц тех газет, для которых работаю. Стоит любому проходимцу удрать с какой-нибудь буфетчицей, и это уже называют тайным романтическим браком или еще того глупее. И вот теперь нашу собственную Гипатию Хард, дочь порядочных родителей, пытаются втянуть в безнравственный романтический бракоразводный процесс, о котором газеты раструбят по всему миру с таким же восторгом, как об августейшем бракосочетании. Этот безумный поэт Романес преследует ее, и, можете не сомневаться, вслед за ним сюда передвинется прожектор всеобщего внимания, словно он — кумир экрана, из тех, что у них именуются Великими Любовниками. Я его видел по дороге — у него лицо настоящего

¹ Монах Бенедиктинского ордена, посланный в VI в. в Англию папой Григорием I для насаждения христианства среди англосаксов; впоследствии первый архиепископ Кентерберийский.

киногероя. Ну а мои симпатии — на стороне порядочности и здравого смысла. Мои симпатии на стороне бедного Поттера, простого, честного биржевого маклера из Питсбурга, полагающего, что он имеет право на собственный домашний очаг. И он борется за него. Я слышал, как он кричал на служащих, чтобы они не впускали того негодяя. И правильно делал. Народ здесь, в отеле, на мой взгляд, хитрый и жуликоватый, но он их припугнул как следует.

— Я склонен разделить ваше мнение об управляющем и служащих этого отеля, — отозвался отец Браун. — Но ведь нельзя же судить по ним обо всех мексиканцах. Кроме того, по-моему, джентльмен, о котором вы говорите, не только припугнул их, но и подкупил, раздав немало долларов, чтобы переманить их на свою сторону. Я видел, как они запирали двери и очень оживленно шептались друг с другом. Кстати сказать, у вашего простого честного приятеля, видимо, куча денег.

— Я не сомневаюсь, что дела его идут успешно, — сказал Рок. — Он принадлежит к типу наших преуспевающих толковых бизнесменов. А вы что, собственно, хотите этим сказать?

— Я думал, может быть, мои слова натолкнут вас на другую мысль, — ответил отец Браун, с тяжеловесной учтивостью пристился и вышел из комнаты.

Вечером за ужином Рок внимательно следил за Поттерами. Его впечатления обогатились, хотя ничто не поколебало его уверенности в том, что зло угрожает дому Поттера. Сам Поттер оказался человеком, заслуживающим более пристального внимания: журналист, который вначале счел его простым и прозаичным, теперь с удовольствием обнаружил черты утонченности в том, кого он считал героем, или, вернее, жертвой происходящей трагедии. Действительно, лицо у Поттера было интеллигентное и умное, однако с озабоченным и временами раздраженным выражением. У Рока создалось впечатление, что этот человек оправляется после недавней болезни; его неопределенного цвета волосы были редкими и довольно длинными, как будто бы их давно не стригли, а весьма необычного вида борода тоже казалась какой-то запущенной. За столом он два раза обратился к своей жене с какими-то резкими язвительными замечаниями, а больше возился с желудочными пилюлями и другими изобретениями медицинской науки. Однако по-настоящему озабочен он был, разумеется, лишь той опасностью, что грозила извне. Его жена подыгрывала

ему в великолепной, хотя, может быть, слегка снисходительной манере Терпеливой Гризельды, но глаза ее тоже беспрестанно устремлялись на двери и ставни, как будто бы она боялась и в то же время ждала вторжения. После загадочной истерики, которую наблюдал у нее Рок, он имел основания опасаться, что чувства ее носят противоречивый характер.

Но главное событие, о котором ведется здесь речь, произошло поздно ночью. В полной уверенности, что все уже разошлись спать, Рок решил наконец подняться к себе в номер, но, проходя через холл, с удивлением заметил отца Брауна, который сидел в уголке под апельсиновым деревом и невозмутимо читал книгу. Они обменялись пожеланиями спокойной ночи, и журналист уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, как вдруг наружная дверь подпрыгнула на петлях и заходила под яростными ударами, которые кто-то наносил снаружи, громовой голос, перекрывая грохот ударов, потребовал, чтобы дверь немедленно открыли. Журналист почему-то был уверен, что удары наносились заостренной палкой вроде альпенштока. Перегнувшись через перила, он увидел, что на первом этаже, где свет уже был погашен, взад и вперед снуют слуги, проверяют запоры, но не снимают их; удостоверившись в этом, он немедленно поднялся к себе в номер. Здесь он сразу уселся за стол и с яростным воодушевлением принялся писать статью для своей газеты.

Он описывал осаду отеля; его дешевую пышность, атмосферу порока, хитрые увертки священника, и сверх всего ужасный голос, проникающий извне, подобно вою волка, рыщущего вокруг дома. И вдруг мистер Рок выпрямился на своем стуле. Прозвучал протяжный, дважды повторенный свист, который был ему вдвойне ненавистен, потому что напоминал и сигнал заговорщиков, и любовный призыв птиц. Наступила полная тишина. Рок замер, вслушиваясь. Спустя несколько мгновений он вскочил, так как до него донесся новый шум. Что-то пролетело, с легким шелестом рассекая воздух, и упало с отчетливым стуком — какой-то предмет швырнули в окно. Повинуясь зову долга, Рок спустился вниз — там было темно и пусто, вернее, почти пусто, потому что маленький священник по-прежнему сидел под апельсиновым деревцем и при свете настольной лампы читал книгу.

— Вы, видимо, поздно ложитесь спать, — сердито заметил Рок.

— Страшная распущенность,— сказал отец Браун, с улыбкой поднимая голову,— читать «Экономику ростовщичества» глубокой ночью.

— Все двери заперты,— сказал Рок.

— Крепко-накрепко,— подтвердил священник.— Кажется, ваш бородатый приятель принял необходимые меры. Кстати сказать, он немного напуган. За обедом он был сильно не в духе, на мой взгляд.

— Вполне естественно, когда у человека прямо на глазах дикари в этой стране пытаются разрушить его семейный очаг.

— Было бы лучше,— возразил отец Браун,— если бы человек, вместо того чтобы оборонять свой очаг от нападения извне, постарался укрепить его изнутри, вы не находите?

— О, я знаю все ваши казуистические увертки,— ответил его собеседник.— Может быть, он и был резковат со своей женой, но ведь право на его стороне. Послушайте, вы мне кажетесь не таким уж простачком. Вы, наверно, знаете больше, чем говорите. Что, черт возьми, здесь происходит? Почему вы тут сидите всю ночь и наблюдаете?

— Потому что я подумал,— добродушно ответил отец Браун,— что моя спальня может понадобиться.

— Понадобиться? Кому?

— Дело в том, что миссис Поттер нужна была отдельная комната,— с безмятежной простотой объяснил отец Браун.— Ну я и уступил ей мою, потому что там можно открыть окно. Сходите посмотрите, если угодно.

— Ну нет. У меня найдется для начала забота поважнее,— скрежеща зубами, проговорил Рок.— Вы можете откалывать свои обезьяньи шутки в этом мексиканском обезьяннике, но я-то еще не потерял связи с цивилизованным миром.

Он ринулся к телефонной будке, позвонил в свою редакцию и поведал им по телефону историю о том, как преступный священник оказывал содействие преступному поэту. Затем он устремился вверх по лестнице, вбежал в номер, принадлежавший священнику, и при свете единственной свечи, оставленной владельцем на столе, увидел, что все окна в номере раскрыты настежь.

Он успел еще заметить, как нечто, напоминающее веревочную лестницу, соскользнуло с подоконника, и, взглянув вниз, увидел на газоне перед домом смеющегося мужчину, который сворачивал длинную веревку. Смеющийся мужчина был высок и черно-

волос, а рядом с ним стояла светловолосая, но также смеющаяся дама. На этот раз мистер Рок не мог утешаться даже тем, что смех ее истеричен. Слишком уж естественно он звучал. И мистер Рок в ужасе слушал, как звенел этот смех на дорожках сада, по которым она уходила в темноту зарослей со своим трубадуром.

Эгер Рок повернул к священнику лицо — не лицо, а грозный лик Страшного суда.

— Вeya Америка узнает об этом, — произнес он. — Вы, попросту говоря, помогли ей сбежать с ее кудрявым любовником.

— Да, — сказал отец Браун. — Я помог ей сбежать с ее кудрявым любовником.

— Вы, считающий себя слугой Иисуса Христа! — воскликнул Рок. — Вы похваляетесь своим преступлением!

— Мне случалось раз или два быть замешанным в преступлениях, — мягко возразил священник. — К счастью, на этот раз обошлось без преступления. Это просто тихая семейная идиллия, которая кончается при теплом свете домашнего очага.

— Кончается веревочной лестницей, а надо бы веревочной петлей, — сказал Рок. — Ведь она же замужняя женщина.

— Конечно.

— Ну и разве долг не предписывает ей находиться там, где ее муж?

— Она находится там, где ее муж, — сказал отец Браун.

Собеседник его пришел в ярость.

— Вы лжете! — воскликнул он. — Бедный толстяк и сейчас еще храпит в своей постели.

— Вы, видимо, неплохо осведомлены о его личной жизни, — сочувственно заметил отец Браун. — Вы бы, наверно, могли издать жизнеописание Человека с Бородой. Единственное, чего вы так и не удосужились узнать про него, так это — его имя.

— Вздор, — сказал Рок. — Его имя записано в книге для приезжих.

— Вот именно, — кивнул священник. — Такими большими буквами: Рудель Романес. Гипатия Поттер, которая приехала к нему сюда, смело поставила свое имя чуть пониже, так как намерена была убежать с ним, а ее муж поставил свое имя чуть пониже ее имени, в знак протеста, когда настиг их в этом отеле. Тогда Романес (у которого, как у всякого популярного героя, презиращего род человеческий, куча денег) подкупил этих негодяев в отеле,

и они заперли все двери, чтобы не впустить законного мужа. А я, как вы справедливо заметили, помог ему войти.

Когда человек слышит нечто, переворачивающее все в мире вверх ногами: что хвост виляет собакой, что рыба поймала рыбака, что земля вращается вокруг луны, — проходит время, прежде чем он может всерьез переспросить, не ослышался ли он. Он еще держится за мысль, что все это абсолютно противоречит очевидной истине. Наконец Рок произнес:

— Вы что, хотите сказать, что бородатый человек — это романтик Рудель, о котором так много пишут, а кудрявый парень — мистер Поттер из Питсбурга?

— Вот именно, — подтвердил отец Браун. — Я догадался с первого же взгляда. Но потом удостоверился.

Некоторое время Рок размышлял, а затем проговорил:

— Не знаю, может быть, вы и правы. Но как такое предположение могло прийти вам в голову перед лицом фактов?

Отец Браун как-то сразу смутился, он опустил на стул и с бессмысленным видом уставился перед собой. Наконец легкая улыбка обозначилась на его круглом и глуповатом лице, и он сказал:

— Видите ли, дело в том, что я не романтик.

— Черт вас знает, что вы такое, — грубо вставил Рок.

— А вот вы — романтик, — сочувственно продолжал отец Браун. — Вы, например, видите человека с поэтической внешностью и думаете, что он — поэт? А вы знаете, как обычно выглядят поэты? Сколько недоразумений породило одно совпадение в начале девятнадцатого века, когда жили три красавца, аристократа и поэта: Байрон, Гете и Шелли! Но в большинстве случаев, поверьте, человек может написать: «Красота запечатлела у меня на устах свой пламенный поцелуй», — или что там еще писал этот толстяк, отнюдь не отличаясь при этом красотой. Кроме того, представляете ли вы себе, какого возраста обычно достигает человек к тому времени, когда слава его распространяется по всему свету? Уотс¹ нарисовал Суинберна с пышным ореолом волос, но Суинберн был лысым еще до того, как его поклонники в Америке или в Австралии впервые услышали об его гиацинтовых локонах. И Д'Аннунцио² тоже. Собственно говоря, у Романеса до сих пор внеш-

¹ Уотс Джордж Фредерик (1817—1904) — английский художник и скульптор.

² Д'Аннунцио Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель.

ность довольно примечательная — вы сами можете в этом убедиться, если приглядитесь внимательнее. У него лицо человека, обладающего утонченным интеллектом, как оно и есть на самом деле. К несчастью, подобно многим другим обладателям утонченного интеллекта, он глуп. Он опустился и погряз в эгоизме и заботах о собственном пищеварении. И честолюбивая американская дама, полагавшая, что побег с поэтом подобен воспарению на Олимп к девяти музам, обнаружила, что одного дня с нее за глаза довольно. Так что к тому времени, когда появился ее муж и штормом взял отель, она была счастлива вернуться к нему.

— Но муж? — недоумевал Рок. — Этого я никак в толк не возьму.

— А-а, не читайте так много современных эротических романов, — сказал отец Браун и опустил веки под пламенным протестующим взглядом своего собеседника. — Я знаю, все эти истории начинаются с того, что сказочная красавица вышла замуж за старого борова-финансиста. Но почему? В этом, как и во многих других вопросах, современные романы крайне несовременны. Я не говорю, что этого никогда не бывает, но этого почти не бывает в настоящее время, разве что по собственной вине героини. Теперь девушки выходят замуж за кого хотят, в особенности избалованные девушки вроде Гипатии. За кого же они выходят? Такая красивая и богатая мисс обычно окружена толпой поклонников, кого же она выберет? Сто шансов против одного, что она выйдет замуж очень рано и выберет себе самого красивого мужчину из тех, с кем ей приходится встречаться на балах или на теннисном корте. И, знаете ли, обыкновенные бизнесмены бывают иногда красивыми. Явился молодой бог (по имени Поттер), и ее совершенно не интересовало, кто он, маклер или взломщик. Но при данном окружении, согласитесь сами, гораздо вероятнее, что он окажется маклером. И не менее вероятно, что его будут звать Поттером. Видите, вы оказались таким неизлечимым романтиком, что целую историю построили на одном предположении, будто человека с внешностью молодого бога не могут звать Поттером. Поверьте, имена даются людям вовсе не так уж закономерно.

— Ну? — помолчав, спросил журналист. — А что же, по-вашему, произошло потом?

Отец Браун порывисто поднялся со стула, пламя свечи дрогнуло, и тень от его короткой фигуры, протянувшись через всю стену,

достигла потолка, вызывая странное впечатление, словно соразмерность вещей в комнате вдруг нарушилась.

— А, — пробормотал он, — в этом-то все зло. В этом настоящее зло. И оно куда опаснее, чем старые индейские демоны, таящиеся в здешних джунглях. Вы вот подумали, что я выгораживаю латиноамериканцев со всей их распущенностью, так вот, как это ни странно, — и он посмотрел на собеседника сквозь очки совиными глазами, — как это ни невероятно, но в определенном смысле вы правы. Вы говорите: «Долой романтику». А я говорю, что готов иметь дело с настоящей романтикой, тем более что встречается она не часто, если не считать пламенных дней ранней юности. Но, говорю я, уберите «интеллектуальное единение», уберите «платонические союзы», уберите «высший закон самоосуществления» и прочий вздор, тогда я готов встретить лицом к лицу нормальный профессиональный риск в моей работе. Уберите любовь, которая на самом деле не любовь, а лишь гордыня и тщеславие, реклама и сенсация, и тогда мы готовы бороться с настоящей любовью — если в этом возникнет необходимость, а также с любовью, которая есть вожделение и разврат.

Священникам известно, что у молодых людей бывают страсти, точно так же, как докторам известно, что у них бывает корь. Но Гипатии Поттер сейчас по меньшей мере сорок, и она влюблена в этого маленького поэта не больше, чем если бы он был издателем или агентом по рекламе. В том-то и все дело: он создавал ей рекламу. Ее испортили ваши газеты, жизнь в центре всеобщего внимания, постоянное желание видеть свое имя в печати, пусть даже в какой-нибудь скандальной истории, лишь бы она была в должной мере «психологична» и шикарна. Желание уподобиться Жорж Санд, чье имя навеки связано с Альфредом де Мюссе. Когда романтическая юность прошла, Гипатия впала в грех, свойственный людям зрелого возраста, — в грех рассудочного честолюбия. У самой у нее рассудка кот заплакал, но для рассудочности рассудок ведь необязателен.

— На мой взгляд, она очень неглупа в некотором смысле, — заметил Рок.

— Да, в некотором смысле, — согласился отец Браун. — В одном-единственном смысле — в практическом. В том смысле, который ничего общего не имеет со здешними ленивыми нравами. Вы посылаете проклятия кинозвездам и говорите, что ненавидите романтику. Неужели вы думаете, что кинозвезду, в пятый раз вы-

ходящую замуж, свела с пути истинного романтика? Такие люди очень практичны, практичнее, чем вы, например. Вы говорите, что преклоняетесь перед простым, солидным бизнесменом. Что же вы думаете, Рудель Романес — не бизнесмен? Неужели вы не понимаете, что он сумел оценить — не хуже, чем она, — все рекламные возможности своего последнего громкого романа с известной красавицей? И он прекрасно понимал также, что позиции у него в этом деле довольно шаткие. Поэтому он и суетился так, и прислугу в отеле подкупил, чтобы они заперли все двери. Я хочу только сказать вам, что на свете было бы гораздо меньше скандалов и неприятностей, если бы люди не идеализировали грех и не стремились прославиться в роли грешников. Может быть, эти бедные мексиканцы кое-где и живут, как звери, или, вернее, грешат, как люди, но, по крайней мере, они не увлекаются «идеалами». В этом следует отдать им должное.

Он снова уселся так же внезапно, как и встал, и рассмеялся, словно прося извинения у собеседника.

— Ну вот, мистер Рок, — сказал он, — вот вам мое полное признание, ужасная история о том, как я содействовал побегу влюбленных. Можете с ней делать все, что хотите.

— В таком случае, — заявил мистер Рок, поднимаясь, — я пройду к себе в номер и внесу в свою статью кое-какие поправки. Но прежде всего мне нужно позвонить в редакцию и сказать, что я наговорил им кучу вздора.

Не более получаса прошло между первым звонком Рока, когда он сообщил о том, что священник помог поэту совершить романтический побег с прекрасной дамой, и его вторым звонком, когда он объяснил, что священник помешал поэту совершить упомянутый поступок, но за этот короткий промежуток времени родился, разросся и разнесся по миру слух о скандальном происшествии с отцом Брауном. Истина и по сей день отстает на полчаса от клеветы, и никто не знает, где и когда она ее настигнет. Благодаря болтливости газетчиков и стараниям врагов первоначальную версию распространили по всему городу еще раньше, чем она появилась в печати. Рок незамедлительно выступил с поправками и опровержениями, объяснив в большой статье, как все происходило на самом деле, однако отнюдь нельзя утверждать, что противоположная версия была тем самым уничтожена. Просто удивительно, какое множество людей прочитали первый выпуск газеты и не читали второго.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

Сапфировый крест. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	7
Тайна сада. <i>Перевод Р. Цапенко</i>	22
Странные шаги. <i>Перевод К. Савельева</i>	41
Летучие звезды. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	59
Невидимка. <i>Перевод К. Савельева</i>	74
Честь Израэля Гау. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	90
Неверный контур. <i>Перевод К. Савельева</i>	101
Молот Господень. <i>Перевод К. Савельева</i>	118
Око Аполлона. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	134
Сломанная шпага. <i>Перевод К. Савельева</i>	147
Три орудия смерти. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	165
Грехи князя Сарадина. <i>Перевод К. Савельева</i>	179

МУДРОСТЬ ОТЦА БРАУНА

Отсутствие мистера Кана. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	201
Разбойничий рай. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	211
Поединок доктора Хирша. <i>Перевод К. Савельева</i>	222
Человек в проулке. <i>Перевод Р. Облонской</i>	237
Ошибка машины. <i>Перевод Р. Цапенко</i>	253
Профиль Цезаря. <i>Перевод К. Савельева</i>	266
Конец Пендрагонов. <i>Перевод К. Савельева</i>	281
Бог гонгов. <i>Перевод К. Савельева</i>	299
Салат полковника Крзя. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	315
Лиловый парик. <i>Перевод К. Савельева</i>	324
Странное преступление Джона Боулнойза. <i>Перевод Р. Облонской</i>	338
Волшебная сказка отца Брауна. <i>Перевод Р. Облонской</i>	353

НЕДОВЕРЧИВОСТЬ ОТЦА БРАУНА

Воскресение отца Брауна. <i>Перевод К. Савельева</i>	369
Небесная стрела. <i>Перевод Е. Коротковой</i>	385
Вещая собака. <i>Перевод Е. Коротковой</i>	408
Чудо «Полумесца». <i>Перевод К. Савельева</i>	427
Проклятие золотого креста. <i>Перевод К. Савельева</i>	449
Крылатый кинжал. <i>Перевод В. Стенича</i>	474
Злой рок семьи Дарнуэй. <i>Перевод Н. Санникова</i>	492
Призрак Гидеона Уайза. <i>Перевод К. Савельева</i>	515

ТАЙНА ОТЦА БРАУНА

Тайна отца Брауна. <i>Перевод В. Стенича</i>	537
Зеркало судьи. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	543
Человек с двумя бородами. <i>Перевод К. Савельева</i>	564
Песня летучей рыбы. <i>Перевод Р. Цапенко</i>	584
Алиби актрисы. <i>Перевод В. Стенича</i>	601
Исчезновение мистера Водри. <i>Перевод Р. Цапенко</i>	615
Худшее преступление в мире. <i>Перевод К. Савельева</i>	633
Алая Луна Меру. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	649
Последний плакальщик. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	661
Тайна Фламбо. <i>Перевод В. Стенича</i>	675

ПОЗОР ОТЦА БРАУНА

Скандалное происшествие с отцом Брауном. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	683
Убийство на скорую руку. <i>Перевод К. Савельева</i>	700
Проклятая книга. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	721
Зеленый человек. <i>Перевод К. Савельева</i>	733
Преследование синего человека. <i>Перевод К. Савельева</i>	751
Преступление коммуниста. <i>Перевод К. Савельева</i>	768
Острые булавки. <i>Перевод К. Савельева</i>	786
Неразрешимая загадка. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	806
Сельский вампир. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	819

РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ БРАУНЕ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

Отец Браун и дело Даннингтонов. <i>Перевод Н. Трауберг</i>	833
Маска Мидаса. <i>Перевод К. Савельева</i>	843
<i>Наталья Трауберг</i> . Печаль отца Брауна	857